

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **И** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Алексей Черкасов
Полина Москвитина

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Сказания о людях тайги

«АЗБУКА»



Сказания о людях тайги

Алексей Черкасов

Черный тополь

«Азбука-Аттикус»

1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Черкасов А. Т.

Черный тополь / А. Т. Черкасов — «Азбука-Аттикус»,
1969 — (Сказания о людях тайги)

ISBN 978-5-389-15810-8

«Черный тополь» – заключительная книга трилогии Алексея Черкасова и Полины Москвитиной «Сказания о людях тайги». Целое столетие минуло со времен событий, описанных в первом романе трилогии «Хмель». Жителям сибирской деревни Белая Елань – потомкам героев первых романов – выпало жить в непростое время: первые годы становления советской власти, Великая Отечественная война, суровые послевоенные годы... Но вопреки любым бурям жизнь людей идет своим чередом, находится в ней место и любви, и ненависти, и преданности, и предательству. «Жизнь, как и внешняя погодушка, – то теплом повеет, то приморозит».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-15810-8

© Черкасов А. Т., 1969
© Азбука-Аттикус, 1969

Содержание

Завязь первая	6
I	6
II	7
III	8
IV	13
V	17
VI	19
VII	22
Завязь вторая	26
I	26
II	28
III	31
IV	34
V	37
VI	40
VII	43
VIII	46
IX	50
X	52
XI	56
XII	60
XIII	63
Завязь третья	66
I	66
II	67
III	70
IV	72
V	74
VI	77
VII	79
VIII	81
IX	84
X	85
XI	87
XII	92
Завязь четвертая	94
I	94
II	95
III	99
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Алексей Черкасов, Полина Москвитина

Черный тополь

© А. Т. Черкасов (наследники), 2018

© П. Д. Москвитина, 2018

© К. Ф. Юон (наследники), иллюстрация на обложке, 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

Завязь первая

I

Много повидал на своем веку старый тополь!..

Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом – крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстущих бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленных солнцем, – стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым древом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студеных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние выюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соски клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие вглубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, – он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И – шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, таким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома – Ларивон Филаретыч Боровиков – с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на Страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, свершенных людьми на его веку.

II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моление, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало чернолесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжело стонало. И чудилось Демке, что Святой тополь отбивается от несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тятку – рыжую бородищу не жалел – пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

– Нишкни! – пригрозил Филимон. – Не твоево ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво – ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, Господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли.

– Сгинем мы, Филимон, от этакого паскудства!

– Молчай, грю, ежели ум у те с коготь или того меньше. Али не слышала: отторг я топовую веру – белоцерковную самую праведную возвещать буду.

– Осподи! В церковь к нечистым метнулся!

– Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласье такое единоверцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитины, – вдруг проговорился Филимон и тут же смолк: до того неожиданно вылетело словечко.

– У какой Харитины?

– У праведницы, следственно, – сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

– Осподи! Ты еще когда во сне Харитинюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитины скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

– Не болтай лишку, грю! – окрысился хозяин. – Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

– Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиньей гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой скор на руку. Бах – и врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и Харитинюшку завел себе – где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи – Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастья.

III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов одна за другой тянулись длинные журавлиные ленты и косяки гусей – летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом – самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хотя на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил – «головастый выродок растет», – отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устильно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська – по третьему годiku – собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натывал их вокруг тополя – как будто это единовѣрцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на моление.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиной к тополю, осеняет единовѣрцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается – соображенья мало.

– Мань, чо она язык выпехала! – кричит Демка. – Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, чо не молитесь! – бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. – А ты, рыжий, из веры в веру прыгаешь! У, анчихрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас Боже!

– Дем, а ты хто?

– Духовник.

– Ой, ой! – тарашится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. – Как был дедка, ага?

– Сусе Христе, помилуй нас! – дуется Демка. – Сечас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев – в сторону отлетел, в геенну, значит.

– Дем, а хто рыжий?

– Не знаешь?

– Тятка, ага?

– Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! – орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холщовых штанишках на лямке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякиной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! – тарашился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна – до того вскипела ярость. – Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу.

– Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

– Это он про тебя, тятя, сатано, грит, рыжий.

– Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала.

Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

– Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуший, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудическим в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу – дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широченные листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться – злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздался голос:

– Доколе, Господи! Доколе!

Филимон оглянулся – перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

– Эко! – шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

– Боровиков?! Ай-я-яй! Под древом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

– Что несешь-то, старая! – огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов – только вместо перекладины холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

– Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! – наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу.

Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком – по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

– Убийство вижу! Убийство!

– Окстись, окстись! – Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выродка – беда будет!

– Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, Господи! Али крови возалкал? Людоедства возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное – из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия – не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, – она, как и этот распахнувшийся вширь и ввысь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела, и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебо-

родом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был топольный кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей кудрявого Веденейки, – да уже не Веденейка ли кудрявый на ее старческих руках сейчас?

– Веденейку вижу! Веденейку, Богородица пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

– Чаво бормочешь-то, осподи прости!

– Не простит Господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и омывается!

Демка опамятовался – всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души – живой! «Экая у меня рука чижилая, Иисусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как роса с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду, восставшая рабица Господня.

– Окстись, окстись! – бормочет Филимон. – Опамятуйся! – А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо – удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекошилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку – мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась – беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. – Осподи, осподи! Опамятуйся, грю!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

– А, разбойник! Каково? На всякого зверя – волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

– Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вырвав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями – кровицу добыла. Рубаху разорвала до пупа.

– Асмодей, асмодей! – кричит. – Топором зарублю! Грех на душу возьму – заааруублюу!

– Экое! Экое! Ополоумела!

– Саатааанооо!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернолесью – только сучья трещали под ногами.

Меланья запричитала:

– Иисусе, за-ради каких мучений токо я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, Господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц Господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

– Не реви, бойкая! – строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тяткой. – Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

– Про што вы?

– Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

– Дык у Боровиковых.

– Кажись, у тебя ребенка принимала?

– У меня.

– Да ведь я девчонку приняла, помню.

– Девчонку.
– И этот твой?
– Мой. Сиротинка несчастная.
– Разве не мужик тебе этот, рыжий?
– Мужик. Сатано треклятый!
– Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона запохаживает.
– На какого Ларивона?
– Боровикова. Сына Филаретова.
– Не слыхивала про Ларивона.
– Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?
– Меланья. А годов мне за двадцать пятый три месяца прошло.
– Богородица пресвятая, как мне было на Ишиме, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованный, Александра Михайлович! Время-то сколь минуло! Ноне-то двадцатый год исходит нового века, а с кандальником свиделась в тридцатом старого века. Время-то, время!.. Стара я, стара! Доживу ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга! Доколе же, скажи, совести каменной быть, а разуму гнатым?

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в монашеском черном одеянии и отчего она так пристально уставилась на нее?

– Не ведаю, про што говоришь, бабушка.
– Кем взростишь сына, скажи: мучителем иль спасителем? Если так вот будете терзать его, попомни мои слова, мучителя взростите. И будет он казнить правых и виноватых, как секли его до крови. Ишь как иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопьевич, невзлюбил ребенка и потому изводит его денно и нощно.

– Так и сбудется, – вздохнула бабка Ефимия. – Мучителя взростите.
– Духовником он будет. Клятва такая на нем.
Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыскивающе-строго:
– Каким духовником?
– Нашей веры, тополевой. Как от крещенья тополевец.
– Ведаешь ли ты, что глаголешь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, чтоб блуд покрывать блудом, невежество – невежеством, дикость – дикостью и чтоб люди до скончания века утопали во мшарине невежества! А ежели парнишка твой станет потом духовником, каким был Филарет?

– На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.
– Нечисть-то! Нечисть! Еретичество! – рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся ляжкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

– погоди! погоди! Сказать тебе надо, женщина, – остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланьи успела забыть – так резко рвались нитки в памяти. – погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом – много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит Небо, да не внял моим воплям ни Иисус Христос, ни отец, ни Дух Святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать – Демка плакал от боли – на руках сидеть не мог.

– Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое.

И ушла.

– Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает людей, – сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватках друг с другом – красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха – попраля старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча – старому тополю, и тут застала зверство – избиение ребенка.

И подумалось Ефимии: не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, порождают изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви возвращенный – кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула – чуждые люди...

IV

Была ночь. И была тьма.
Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.
Рабица Господня отстаивала всенощную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение.

Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в эком круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо – сына Демида, чтоб не быть клятвoprеступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем.

Молитва на измор тела – тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пушай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретишь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попроси игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать Писание, службы править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пушай не даст корову Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю и отдай Пестимии – ребенчишка примут, и благодать будет».

– Слышу, слышу! – воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал – на спину не мог перевернуться. – Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами – молотьба подоспела.

– Оставляю Карьку, – сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону. – К обеду чтоб привезла молотильщикам снеди, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не омолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую иконку.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекор, Прокопий Веденеевич, – наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один – замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула – нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась – разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти – для чего, не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях, и все крупные бумажки, золотом когда-то обес-

печивались. По виду пачек – деньги не были в обращении. Будто покойный Прокопий Веденеевич получил их из рук в руки от самого помазанника Божьего, самодержца российского Николая Второго.

Меланья знала, что в этот двадцатый год Филимон платил налог еще николаевскими, а керенские и колчаковские и всякие губернские боны не принимали в Совете.

Под пачками николаевских – четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с камнями – из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики – кто знает; Меланья о том не подумала. Четыре золотых серьги с камнями – из чьих ушей, знать бы! Ах, какие сережки! Вот если бы тополе-вая вера не была столь строгой к женщине – можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Меланья могла нарядиться! Вот диво-то – к чему тятенька накопил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы! Должно, получил от каких-то богатю-щих пассажиров во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял!.. И пачками николаевских пла-тили, должно, и серьгами с кольцами, и крестиками – и кресты анчихристовой печатки.

Серебряные рубли и полтинники – много, много, много. Выгребла из туеса, отложив к пачкам и золотым безделушкам. Под серебром -

золото

gggзолото

ggggggзолото

ggggggggзолото!!!

И сразу, в тот же миг, сатано лягнул Меланью своим раздвоенным копытом – затряслась, как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах -

золото

gggзолото

ggggggзолото

ggggggggзолото!!!

Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника – никого, ни души! И бегом обратно, к сокровищу. Выгребла в кучу золото – много-много. А сколько? Считать не умела. Знала только дюжину – двенадцать. Вся превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала; двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажные не стала считать – ума-то сколько надо! Писарь, может, не сосчитает!..

gggБОГАТСТВО

ggggggБОГАТСТВО!..

Перевела дух, помолилась, сидя на корточках.

– Сусе! Сусе! Спаси мя! – бормотала себе под нос, поспешно складывая сокровища в туес в том порядке, как было уложено когда-то Прокопием Веденеевичем. Крышку закрыла и забила ее топором. Опомнилась – с чем же поедет в скит, в Бурундат к монашкам! – Осподи! Осподи! Из ума вышибло. Из другого туеса возьму ужо. Из другого. Богатство-то экое, осподи!..

gggБОГАТСТВО

ggggggБОГАТСТВО!..

Отнесла туес на прежнее место, вытащила другой, а этот обложила заплесневелой шер-стью и сверху камнями. Быстро. Быстро, как будто сатано подстегивал копытами. В момент закопала, половицы наладила, кадушку поставила и еще раз присмотрелась, не видно ли, что половицы подымались? Нет как будто. Вышла со вторым туесом в предбанник. Так же выбила крышку топором. И тут сверху шерсть и холщовый полог. Серебряные деньги сверху – от пятиалтынного до рублей, и золотые часики на золотой браслетке. Точно такие же, как были у Дарьи Елизаровны. Сама тот раз на ладони держала. Золотые часики! Малюхонькие. К чему тятенька купил экие часики? Не понимала.

Выгребла серебро, а потом насыпала на шаль золото – золото – сияющее золото! Куски от солнца будто. Как же оно взбудораживает душу – будто силы прибавило Меланье.

– Осподи, осподи! Богатство-то какое! Ах, Демушка! Счастье твое, – бормотала себе под нос, и нечто неприятное мутило душу. «Ужли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться! Осподи! Али я не заробила у тятеньки? – подумалось. – Али не со мной втайне жил и в рубище Евы пред образами ставил! Осподи! Демид может и на ветер пустить экое богатство. Иисусе, спаси мя!..»

Разложила кучки дюжинами. Четырнадцать дюжин золотых, а в каждом золотом – десять рублей. Сколько же это? «Ой, вного, одначе! Четырнадцать дюжин! Кабы счет знать, осподи!»

На поездку в Бурундат отложила шесть дюжин и золотые часики с браслеткой. Остальное все сложила обратно, как и в первый туес. Заколотила крышкой. Подумала: шесть дюжин! А в каждой дюжине двенадцать золотых, а в каждом золотом – десять рублей. Шевеля губами, пальцами, считала, считала – и не сосчитала.

– Иисусе! Шесть-то дюжин вного, одначе. За сто рублей золотом тятенька купил пару рысистых жеребят у Метелина. А сто рублей это – это скоко же золотых надо?

И опять считала. В одном десять, да еще десять – двадцать. Десять рублей – десять по десять...

Испугалась:

– Осподи! Всего десять золотых за два рысак! Дюжины нету! Сусе! А я шесть дюжин монашкам. Подавиться им. Ишшо подумают, что у меня вного золотых. Власти донесут. Осподи! Дык часы ишшо. Подавиться им! Демка-то, поди, робить будет в скиту.

Оставить при себе лишние золотые не решалась, а вдруг, не ровен час, увидит мякинная утроба?

Еще раз открыла туес и две дюжины золотых положила обратно – взяла четыре. А какая сумма?

– Вного, одначе. Ну, да за Апроську, а так и за Демида, штоб духовником стал.

Успокоилась.

– Мааамкааа! – раздался голос Маньки.

Меланья до того испугалась голоса дочери, что животом легла на туес, будто дочь вошла в предбанник, а не кричала откуда-то от дома.

– Маааамкааа! Маааамкааа!

– Окаянная! – одумалась Меланья и, накрыв жакеткой туес, вышла из предбанника.

– Чаво орешь?

Манька кричала с крыльца:

– Демка плачет. Спина, грит, шибко болит. Ой-ой, как болит.

– Скоро приду. Ступай! Сиди с ним. Молока дай. Сметаны набери из кринки.

– Дык пост ноне.

– Для болящего... Ладно, не давай молока и сметаны. Меду дай из кладовки. Да мотри – не жри сама! Не из кадки бери, а из большого туеса. Нет, не из туеса. Из корчажки возьми. С сотами. И себе с Фроськой положи маненько на блюдечко. Мотри! Маненько возьми. Космы выдеру, ежли нажретесь. Золотуха будет. Ступай!

Распорядилась с Манькой и вернулась к сокровищу. Куда же деть туес? Ямку-то зарыла. Вот еще наваждение нечистой силы – из ума вышибло.

«Дык чо их в одно место закапывать? – подумала, круто сводя тонкие черные брови. – Вдруг чо приключится – не дай осподи! В другое место зарюю».

Куда же? Пораскинула умом. А что, если в омшанике? Нет, нельзя. Тятенька туда бы не спрятал – омшаник-то новый, перед войной поставили. В овчарню лучше. На месте овчарни была когда-то старая конюшня. Самый раз. Унесла туес в жакетке, будто дитя возле груди, сыскала место в пустующей овчарне – овцы нагуливались в мирской отаре; выкопала ямку

на полтора аршина глубины под стеной в углу на закат, поставила туда туес. Да ведь туес-то надо шерстью обложить, как было. Тятенька, поди, знал! Золото, как живое тело, иначе, тепло любит, холить надо. Уходит в землю, слышала, если человек недобр и небережлив. У бережливых золото, как хорошая баба, само пухнет; у ротозеев и простофиль – само себя изводит и уходит. А Меланья не хотела, чтобы оно исчезло. Золото за малый час жизни будто прошло сквозь ее сердце, и само сердце отяжелело, как туес вроде. Насытилось.

Сбегала под завозню, где на деревянных решетках проветривалась шерсть летнего настрига. Набрала охапку и укутала туес со всех сторон, с банной каменки притащила камней, придавила туес сверху и зарыла, притоптав землю.

Место трижды перекрестила:

– Спаси Христе!

Здесь ее клад, Меланьи Романовны, дочери скопидома Валявина, младшей сестры завидущих скопидомок Белой Елани – Аксиньи Романовны, Авдотьи Романовны, Екатерины Романовны. Одна из сестер, Авдотья Романовна, побывала в замужестве за приискателем. Однажды муж вернулся с фартового места, застал жену с другим, собрался навсегда покинуть блудную бабу, но Авдотья Романовна, похитив у него золото, предварительно напоив сивухой, отрезала сонному бритвой нос. Чтоб не про золото вспомнил опосля похмелья, а про нос! Так-то надо выдирать у простофиль богатство – хитростью!..

Теперь надо скоренько собраться и ехать с Демкой в Бурундат. Как же быть с Манькой и Фроськой? Одних не оставишь. Надо найти единоверку на неделю, чтоб доглядывала за домом и ребятишками. Филимон, конечно, рассвирепеет. Пушай! У Меланьи теперь сила – золото! А за золото она и черту глаза выдерет и нос отрежет, как сестрица Авдотья.

Единоверку сыскала. Собралась. Взяла на дорогу хлеба, масло в туесе для Апроськи и меду большой туес для монахинь, чтоб не ругались шибко. Демкины вещички сложила в мешок, запрягла ленивого Карьку в телегу, кинула две охапки сена, выехала за ограду, вернулась за Демкой, еще раз помолилась в избе, и к телеге.

– Спаси Христе!

– Спаси Христе! – ответно поклонилась Меланье единоверка.

Поехали.

V

В Таяты, в Таяты, в Бурундат!..

ррр

Я поеду в Бурундат,

В Бурундат, в Бурундат!

Богу молиться,

Христу поклониться... -

распевал тонюсеньким голосом Демка. Он едет в Бурундат, в Бурундат! И не будет терзать его рыжая бородаща – сатано! Демка вернется из скита духовником и вытурит рыжего в геенну огненну!..

К ночи приехали в большое кержачье село – Нижние Куряты.

Здесь живут старообрядцы-даниловцы и старики; как и в Таятах – разные ветви от распавшейся Филаретовой крепости. Люто прикипели к земле – не выдерешь никакой силой. Дома ядреные, солнцем прокаленные; мужики бородатые, бабы все брюхатые, оттого и ребяенок полным-полно в каждом доме.

Справно живут.

Пришлые лентяи и обжимщики, чтоб пожить на чужой счет, в Нижних Курятах не задерживаются.

Меланья отыскала избу старовера и попросилась на ночлег. В избу вступила по уставу: «Спаси Христе чад ваших!» И ответное: «Спаси Христе и вас помилуй!» – с поклонами, без суетности и праздных слов. Староверы не выпрашивают – куда едешь, зачем едешь. Если пустят в дом, не преступай положенных пределов, не мешай хозяевам, не паскудь ни дома, ни стола, ни углов, не вскидывай завидующие глаза на амбары и клетки, на скотину-животину – в шею получишь.

Хорошо!..

Меланья с Демкой устроились в уголке, чтоб никому не мешать, поужинали своей снedyю – пили свою воду из своей посуды, ели из своей посуды и улеглись на свое барахло.

Чуть свет Меланья заложила Карьку в телегу, вынесла на руках сонного Демку, поблагодарила за приют хозяина с хозяйшкой и поехала дальше в Верхние Куряты.

Верхние от Нижних ничем не отличаются – тот же русский дух и той же Русью пахнет.

Коня покормили на берегу Кизира. Демка бегал возле реки, радовался, как будто и не был бит смертным боем; детское тело забывчиво.

Мать всю дорогу наговаривала сыну, как кротко и послушно надо держать себя перед матушкой-игуменьей, чтоб она не отказала принять его в скит на возрастанье и ученье.

Солнце скатилось за бурую гору, как за медвежью спину; шерсть на медведе вспыхнула в багровом зареве.

Приехали в Таяты. Село большое, размашистое, по берегу Кизира, и с такой же старообрядческой строгостью нравов и обычаев, как и в двух Курятах.

Дома крестовые, заплоты все тесовые.

Община крепчайшая, какой не сыщешь во всей России, – прадеды вышли из Поморья в поисках обетованного Беловодьюшка. Дошли до края земли, в места, известные в ту пору зверю и птице. Рыбы в порожиистой реке сколь хошь, зверя много, лесу красного – море разливанное, пашни по взгорьям славные – земля сытая, травы по лугам в пояс.

Живи не тужи!

Пришлых с ветра не принимали.

Пришлому – ни здравствуй, ни прощай; единоверца – душевно привечай и ворота открывай.

Меланья с Демкой переночевали в доме единоверца, утром помолились, хозяину с хозяйской поклонились, Христа добром помянули и за порог нырнули, как говаривают присловьями в этих местах.

Утро выдалось с мороком – туман чубы вскидывал над Кизиром и лохматыми Саянами. До Бурундата шесть верст, и все горою.

Тянигус, тянигус, тянигус. Как будто пузатый Карька тащил телегу на небушко.

По берегу малой речушки, шириною в шаг, возле румяных сосен, на обширной елани три домика за частоколовой оградой – женский скит. Шагов за полсотни – еще две избы за забором из жердей – старцы живут, пустынники.

Меланья привязала Карьку у столбика для приезжих, наказала Демке, чтоб он не слезал с телеги, накрыла его шабуром, помолилась на иконку на столбу ворот, прошла в ограду. Кругом порядок, чистота. Три амбара, поднавес с машинами, конюшня, коровник, овчарня, колодец с колесом и с ведром на крышке колодца, за амбарами – большущий огород, обнесенный тыном, баня в огороде, а там, еще дальше, – синие горы.

В крайнем домике у сенной двери – колокольчик. Меланья позвонила и, насунув черный платок до бровей, подождала, когда вышла послушница-белица, еще не принявшая пострижения в монахини.

Обменялись староверческим приветствием.

– К матушке-игуменье?

– К ней. Спаси Христе.

– А! Я вас узнала. Меланья из Белой Елани? В храмов праздник вы привезли к нам девушку, Апросинью.

– Привезла. Привезла.

– Плохая она. Совсем плохая. Скоротечная чахотка у ней. Если бы вы привезли осенью, может, спасли бы. Теперь поздно. Как свечечка догорает.

– Спаси ее душу, Господи!

Белокурая красивая девушка, заблудшая в миру овца, Евгения, дочь колчаковского полковника Мансурова, где-то летающего с бандой по уезду, сама похожа была на догорающую свечечку: тоненькая, белолицая, вся в черном по обычаю скита, так кротко и покойно смотрела на Меланью своими большими серыми глазами, как будто ей было известно, что жить и ей осталось мало, – и она сгаснет, отойдет в иной мир, и там кому-то пригодятся ее начитанность и влюбленность в небо. В ее голосе не было скорби по догорающей Апроське, а скорее радость – отмучается, несчастная, и на небеси возликует среди ангелов.

VI

Белица отвела Меланью в отдельную залу для приезжих – комнатуха с двумя окошками, с двумя лавками, голым столом, с иконами в переднем углу и с русской печью на пол-избы – здесь же и пекарня для обитательниц скита.

Куть была отделена от залы ситцевой занавеской. Обволакивающий запах свежее испеченного пшеничного хлеба успокоил Меланью, и она, поджидая игуменью, крестясь на темные лики икон, обдумывала, с чего начать приступ к игуменье – шутка ли, в женский скит мальчонку привезла, да еще с коровой обманула.

Вошла игуменья Пестимия, строгая старуха в черном одеянии, как лодка, проплыла мимо Меланьи. За нею белица Евгения. Пестимия помолилась, а белица тем временем застлала лавку черным плюшем, и тогда Пестимия села возле стола. Посмотрела на Меланью, отбивающую поклоны на коленях:

– Встань.

Меланья поднялась.

– Корову привела?

– Дык-дык белые-то забрали Апроськину корову. Хозяин мой возвратился из пропащих, Филимон Прокопьевич. В чужую веру прыгнул. Белой Церковью прозывается и согласьем, грит.

– Австрийское согласие?

– Согласие. Согласие.

– Ну а корова-то тут при чем? Ты же привезла девицу и сказала, что к осени приведешь корову. Белых с зимы нету. Ты же ничего не говорила про белых, когда привезла в мой скит болящую?

– Дык хозяин-то – мужик мой – осатанел в чужацкой вере. Тополевый толк наш отринул. Меня смертным боем бил и ребенчишка – малого парнишку – забил насмерть. Привезла вот.

– Кого привезла? – строжела Пестимия, перебирая в пальцах черные четки на шнурке.

– Дык ребенчишка. Сына мово, Демущку.

Игуменья выпрямилась на лавке, положила кисти рук на черное одеяние, обтягивающее ноги до полу, посмотрела на Меланью так сердито, что та снова бухнулась на колени и крестом себя, крестом с поклонами, не жалея лба, стукнулась в половицы, выскобленные до желтизны.

– Зачем ты ребенка привезла? Показать?

– Дык, осподи! К вам привезла: смилуйтесь за-ради Христа, матушка!

Игуменья рассердилась:

– Ты никак умом рехнулась?

– Осподи! Осподи! Ма-а-атушка! – завопила Меланья, падая на колени. – Заради Христа!

– Да встань ты! Чего воешь? Как будто я не понимаю вашей кержачьей хитрости! Ох, Господи! Спаси и помилуй. Когда же вы прозреете, сирые! Когда же вы вспомните про Господа Бога, Сына человеческого и Святого Духа! Когда же вы поймете, что входить надо к Богу тесными вратами, потому что широкие врата и просторный путь ведут к погибели. И ты... как тебя звать? Меланья? Да встань же ты, наконец.

Меланья поднялась.

– Ну так вот: ты надумала еще в храмов день обмануть меня с коровой. А к обману вел широкий путь и широкие врата моего доверия. А теперь корову белые забрали. И ты все это говоришь перед образами? Ты обманула не меня – Господа Бога! Может, разговаривала с еретичкой Ефимией, коя проживала у меня с год, натворила паскудства, оплевала святую обитель и ушла. Виделась с Ефимией? Она же из Белой Елани.

– Дык-дык-дык...

– Виделась! Так и есть!

Игуменья поднялась – взгляд, карающий грешницу, пальцами сжала черные четки.

– Вот что, Меланья. Обманувшая обитель – не достойна быть и малый час в ней. А на парнишку твоего смотреть нужды нету – здесь женский скит, не мужской. Или ты не в своем уме?

– Клятва на нем, мааатушкааа! – завопила Меланья, снова бухнувшись на колени. – Тайная клятва на нем! Слово с меня взято, мааатушкааа!..

Игуменья задержалась, соображая, о чем бормочет баба, спросила:

– Какая еще «клятва»?

– Дык-дык колды помирал убиенный...

– Убиенный?

– Допрежь сказывал...

– Вразуми меня, Господи, понять эту женщину! – взмолилась игуменья Пестимия. – О чем ты бормочешь?

– Дык клятбу взял с меня духовник в бане – батюшка наш, Прокопий Веденеевич...

– Тот греховодник, которого клянёт Елистрах?

– Дык сказал мне он до гибели своей: «Ежли, грит, сгину, то отдай Диомида в скит праведнице Пестимии на возрастанье, чтоб грамоту узнал, Писанье мог читать, службы править по нашей тополевой вере. А на то дело, грит, клад завещаю – четыре дюжины золотых и часы ишшо»...

Да простит Господь Меланью! Она успела окончательно уверовать, что покойный Прокопий Веденеевич завещал клад не Демиду, а только ей, Меланье, а из того клада – четыре дюжины золотых да часики для Демида... А все, что в туесах, – для нее, только для нее, рабицы Господней! Это она сама скопила золото. Сама. Сама! Сама ямщину гоняла. Сама. Сама! В туесах ее золото, ее золото!..

Игуменья подумала:

– Тебя мучает какая-то тайна?

– Мучает, матушка. Мучает. Про парнишку свою. Про Демушку.

Игуменья кивнула белице-послушнице, и та вышла за двери.

– Поклянись перед Создателем, что говорить будешь только правду.

Меланья поклялась, наложив на себя тройной крест.

– Говори.

Пестимия вернулась на лавку.

– Дык мужик мой – ирод, сатано, отринувший нашу праведную веру...

– Тополевый толк – греховный, – укоротила Пестимия. – В чем твоя тайна, говори!

– Дык Филимон-то – мужик – изводит ребенчишку мово, Демушку.

– Изводит? Почему?

– Дык как по тополевой вере родился...

– При чем тут ваша тополевая вера! Не понимаю.

– Дык-дык радела я с духовником...

– С духовником? С каким духовником?

– Дык-дык с тятенькой, со Прокопием Веденеевичем, как со праведником.

– Как «радела»? Говори же ты толком!

– Дык во стане сперва, когда Филимон во тайгу убег от войны той. Хлеб убирали со свекром, и явленье было ему: матушку свою во сне узрил, и она сказала, чтоб он тайно радел со мною, и радость, грит, будет, и у меня народится сын потома.

– Что? Что? – тарашилась игуменья. – Спала со свекром, что ли?

– Во стане сперва, а потом дома. В рубище Евы зрил меня, – лопотала Меланья, и ни искорки стыда не было в ее карих, спокойных, как у коровы, глазах.

- Господи! – Пестимия осенила себя крестом. – Так ты парнишку родила от свекра?
- От духовника, матушка.
- Так он же твой свекор?
- Ежли по мужику...
- Помилуй меня! Кем же еще может быть свекор, как не отцом твою мужу. Ты хоть в грехах-то покаялась?
- Дык пошто? Как по нашей вере...
- Какая вера?! Дикость! Преступность-то! Сожитие со свекром – отцом мужа твоего – это же тягчайший грех, женщина! Судить за то надо, судить! Не Божьим, а мирским судом. Бог осудил вас в ту же ночь, как вы позволили себе экий срам. О, Господи! Слышишь ли ты! В тюрьму бы тебя со свекром!
- Дык-дык батюшка-то сказывал – святой Лот со дочерьми своими, грит...
- Тьфу! Тьфу! Тьфу! – плевалась Пестимия. – Как же мне с тобой разговаривать, грешница, если ты и греха-то не видишь, когда по уши утопла в грязи и блуде?! Слыхано ли, Господи!
- Дык-дык разве я одна тополевка. В Кижарте вот – али вот суседка моя такоже радела с батюшкой и двух дитев народила.
- Господи помилуй, в полицию бы вас! В полицию! Да плетями бы вас, плетями, плетями! Видел царь...
- Игуменья осеклась на слове – что поминать царя, когда его пихнули вместе с престолом! Меланья, не уразумев, за что на нее гневается матушка Пестимия, сказала:
- Дык царь-то не видел. Не было его в стане, когда мы с тятенькой...
- Тьфу, тьфу! Замолкни! Дура ты, что ли, в самом-то деле! И этот ребенок жив?
- Дык привезла к вам, матушка.
- Игуменья всплеснула руками:
- Богородица пресвятая, слышишь? Она привезла ко мне своего... – Пестимия не выговорила слово – подавилась. Четки в ее пальцах пощелкивали, будто черт стучал копытцами, танцевал от радости, созерцая нераскаявшуюся грешницу. – О Господи! На старости лет слушать такое...
- Игуменья примолкла, а Меланья все так же глядит на нее своими коровьими глазами, ждет милости.
- Что же он завещал тебе, этот блудник и преступник?! И нет ему отпущения грехов!.. Что он завещал?
- Дык-дык сказал на остатность – мучился от плетей шибко.
- Так его все-таки драли плетями? – обрадовалась игуменья.
- Драли, матушка. Шибко драли казаки...
- Слава Христе, – помолилась игуменья. – Ну, и что он завещал?
- Оставлю, грит, шесть дюжинов золотых на возрастанье Диомида. Четыре, грит, отдай матушке Пестимии, штоб грамоте обучали в скиту и штоб опосля стал духовником, как я...
- Господи! Нераскаявшийся пакостник завещал блуднице, чтоб она на замену ему вырастила еще одного снохача. И она, грешница, привезла в мой чистый скит во грехе и блуде рожденного и просит... Нет, не могу! Сил лишусь, Господи!..

VII

Игуменья надолго примолкла.

Четыре дюжины золотых? О чем бормочет нераскаявшаяся грешница?

– Господи! И ты еще жалуешься на мужа своего! Да тут и сам святой растерзал бы тебя, блудница!..

Но – четыре дюжины золотых! Это сколько же? Сорок восемь? Чего сорок восемь? Да ведь она сказала – шесть дюжин. Сперва четыре, а потом шесть. Ох, грешница! Можно ли верить такой грешнице? Пред иконами лжет и не раскаивается!

– Про какие шесть дюжин говоришь?

– Про четыре, матушка. Часы ишшо.

– Ты же сказала – шесть дюжин?

– Дык-дык-дык четыре, матушка. Для скита. Часы ишшо.

– Ты, я вижу, скрытная и жадная. На свое и на чужое добро жадная. Врешь ты Богу и мне. Вижу то! Покарает тебя Господь, ох, как тяжело покарает. И не искупишь потом свой грех никакими дюжинами, грешница!.. Где эти дюжины и часы?

Меланья показала себе на грудь:

– Тут.

– Покажи.

Сверток в старом платке засунут был между грудей. Меланья достала и протянула матушке Пестимии.

– Встань и сама развяжи на столе.

Развязала. И вот оно – золото

gggзолото

ggggggзолото

ggggggзолото!..

И золотые часики на золотой браслетке с камнями. Игуменья взяла их с платка, разглядывала на вытянутой руке.

– Чьи часы?

– Дык батюшки.

– Такие часы покупают только богатые барыни за большие деньги. Кому он купил часы, старый грешник?

– Дык не покупал... в ямщине заробил, грит.

Золото сверкает на темном платке – сатано скалит зубы, радуется, совращает непорочную святую Пестимию, чтоб спеленать с грешницей Меланьей. Сорок восемь зубов выставил. А все ли они здесь, сорок восемь?

– Четыре дюжины?

– Как есть четыре. Хучь сосчитайте, матушка.

– Не вводи во искушение! Господи меня помилуй! Так что же ты хочешь?

– Чтоб малого мово, Демушку, взяли от погибели. Ирод-то, Филимон Прокопич, при-
бьет его, истинный Бог!

– Не ирод муж твой, а святой мученик, если до сей поры не пришиб тебя насмерть за такое паскудство! Господи! Как же мне поступить с этой грешницей?

– Смиловитесь, мааатушкааа!..

– Молчи. Я помолюсь.

Считая четки, Пестимия долго молчала, читая про себя молитву, чтоб не ввел ее нечистый во искушение.

Сорок восемь золотых десятирублевиков лежали на платке. И часики. Редкостные заморские часики. Любая барыня за такие часики... Ах, Господи! Остались ли в городе барыни? Ну да золото всегда останется золотом, и – часики...

– Ты же сказала: шесть дюжин завещал грешник?

– Дык-дык батюшко-то сказывал: четыре дюжины, грит, в скит отдай, штоб малого взяли учить Писанию. А две дюжины – штоб опосля ученья хозяйством обзавелся. Ить Филимон-то Прокопьевич ничаво не даст Демушке из хозяйства. Вот те крест! Не даст.

– Не накладывай на себя кресты, грешница! Но как же мне поступить?... Ох-хо-хо! Скотство. Как звать сына?

– Диомид. Дема.

– Пять лет ему?

– Четыре, пятый. Недели две, как четыре сполнилось.

– Послушный?

– Души не чаю в нем. Ум в глазах светится.

– Откуда тебе знать, ум или дикость светится у него, если ты – тьма неисходная!

Игуменья еще помолчала, кося глаза на кучу золотых. Сорок восемь? Четыреста восемьдесят золотых рублей! Нелегко скопить золото и даже великому грешнику...

– Муж знает про дюжины?

– Оборони Господь!

– Как же ты живешь с ним, если кругом обманываешь?

– Не обманываю. Оборони Господи!

– А это? Что это?

– Дык-дык клятьбу дала...

– Ладно. Заверни все это в платок, и пойдем. Покажи ребенка.

Меланья завязала дюжины с часиками в платок и протянула игуменье. Та посмотрела на нее взыскивающе-строго:

– Ох, грешница! Сама утопла в тяжких прегрешениях и меня вводишь во искушение. Нечистый дух попутал тебя. Изыди! Не во храме ли Божьем пребываешь? Не пред ликами ли святых? Не приму твоих дюжин – из нечистых рук они. Отверзни душу и лицо свое в час прозрения да прокляни навек совратителя твоего! Аминь.

Прошла мимо растерявшейся Меланьи, оглянулась:

– Веди к ребенку.

Низко опустив грешную голову, зажав в обеих руках платок с золотом, Меланья вышла из избы со вздохом: «Осподи! Кабы все шесть дюжин привезла – приняла бы Демушку».

Возле крыльца игуменья взяла свой черный посох, поскрипывая рантовыми ботинками, шла медленно из ограды.

Демка успел уснуть под шабуришком.

– Демушка! Демушка! Подымайсь!

– Ой, мамка! Больно. Шибко больно! – хныкал спросонья малый, не в силах сесть на телеге даже на мягкое сено.

Черная высокая старуха уставилась на него испытующим взглядом. Так вот он какой, во блюде рожденный! Кудрявые волосенки ниже плеч – мать не стригла сына, глазенки синие, спокойные, удивленно распахнутые. Холщовая рубашонка и штанишки, чирки на ногах, рослый для четырех годов – может, и тут обманула, блудница?

– Дык четыре, четыре, матушка. Вот те крест! Тянется! Покойный батюшка, Прокопий Веденеевич...

– Окстись! – отмахнулась игуменья. – Не поминай имени совратившего душу твою. Навек забудь! Проклят он, и нет ему спасения на том свете. Тебе жить – тебе и грех свой замолить. Ежли прозреешь только. Ох, Господи! Вразуми эту рабу Божью!

– Дык-дык что же мне таперича, осподи! – смигнула слезы Меланья, готовая разреветься. Игуменья прикрикнула – не слезы точи, мол, а молитвы читай да перед Богом покайся во всех своих тяжких прегрешениях.

– На какую боль жалуется?

– Дык смертным боем бил его Филимон Прокопьевич. Кабы вы зрили, осподи!..

– Покажи.

Меланья спустила с Демки штанишки – малый не сопротивлялся. За дорогу от Белой Елани до Бурундата мать многим показывала, как он избит рыжей бородищей.

Еще не затянувшиеся коросты на иссеченном тельце.

– Святители! – испугалась игуменья. – Не звери ли то, Господи!

– И бабка Ефимия также сказала, – обмолвилась Меланья.

Игуменья рассердилась:

– Не поминай имени еретички, как и совратителя своего. Аминь. Чтоб ни в душе, ни в памяти!

Помолчали.

Высокая игуменья медленно перебирала четки, глядя на пенные горы, близко подступившие к скиту.

Горы пенятся туманами к непогоде.

– А мы еще пшеницу не всю в скирды сложили, – сказала игуменья. – Да и в тайгу надо ехать монашкам, чтоб ульи составили в омшаник.

Меланья подумала, что игуменья приговаривается к ней, чтоб она помогла скитским управиться с хлебом.

– Дык-дык ежли на недельку, дык останусь. Филимон-то Прокопъич не знает, што я к вам уехамши.

– У нас хватит сил и рук, чтоб управиться с хлебом, со скотиной и пчелами. Ты о душе подумай! О своей душе подумай!

– Как приняла я тополевыи толк...

– Ладно. Не о том говорить будем. Отвези эти дюжины и часы сатанинские мужу своему, отдай и во грехе покайся перед ним и пред Господом Богом. Сделаешь так?

У Меланьи и рот открылся, а во рту-то сухо – ни слов, ни божьей мяты.

– Дык-дык как же? Клятва-то на мне экая!

– Али ты навек продала душу сатане?

– Осподи!

– Прозрей, пока не поздно. Отдай дюжины мужу, говорю. И мир будет в доме вашем.

– Дык осподи! Прибьет он меня! Прибьет. Остатное востребует. Скажет: где хоронился клад? Покажи? Туес весь... – проговорила Меланья и сама испугалась.

– Туес?! Так я и знала! Пред иконами лгала! Лгала, лгала! Нечистый кругом запеленал тебя! Изыди! Изыди! Поезжай сейчас же домой и молись, молись, молись! Ежли прозреешь – навестишь скит мой. До прозрения не приезжай, говорю. И мальчонку не привози – не место ему в скиту.

Меланья в слезы: не судьба, видно, быть Демке духовником. Так со слезами и уехала и долго, долго плакала дорогою, не уяснив, за что же на нее разгневалась старуха-игуменья? Может, за то, что корову не привела? Так ведь четыре дюжины золотых давала! «Осподи, что же это такое? Али греховный толк наш? И Демушку не приняла. Что же мне делать-то, матушка! Горемычная моя головушка!..»

Всю дорогу до Белой Елани исходила слезами и решила-таки отдать мужу тятино золото. И Филимон Прокопьевич, глядишь, мягче будет, смирится с вырождением.

...Возликовал Филимон и зарок дал (в который раз) не трогать Демку, а золото, богатство экое, надежно припрятал, пустив в оборот «николаевки», покуда у советской власти не было еще своих денег.

Года на три в доме у черного тополя настал мир и согласие.

Подрастал Демка...

Завязь вторая

I

Вешняя отталка голубила землю.

Над просторами Амыла, над безлюдными, угрюмыми Саянами, над синь-тайгой, накапливая тепло, подтачивала стынъ зимы весна 1923 года. Теснее жалось к тайге солнцу. Чернели зимники по займищам. Реки пучились наледью. Забереги отжевывали лед от берегов. Птицы, совсем недавно безголосые, наполняли щебетом и гомоном обжитые места. На солнцепеках пашен темнели веснушки проталин. Деревушки подтаежью не буравили черными штопорами небо, а выстилали по земле свадебные дымовые шлейфы: земля готовилась к венчанью с солнцем, чтобы потом справить свадьбу у первой борозды на пашне, когда еще окрест голые леса и сама земля в серой шубе прошлогодних вытаявших трав. Ну а после свадьбы земли с солнцем, после сладостного томления вешних ноченек брызнут травы по лугам, развернутся листья на деревьях, и даже люди тайги молодеют, вспоминая зимушку, как вчерашний день.

Такие же перемены бывают и в жизни...

Недавно лилась кровь; бились грудь в грудь красные с белыми, не чая увидеть завтрашний день; белые армии гибли, горели, как солома на огне, красные – уверенно и немилосердно дотапывали на востоке гибнущие армии – и дотоптали их.

Бряцающая шпорами юфтовых сапог, вчерашний командир кавалерийского взвода Пятой Красной армии Мамонт Головня шел дорогою из Каратуза в Белую Елань.

Если бы кто со стороны посмотрел на Мамонта Петровича в красноармейском воинском наряде, он мог бы подумать, что вояка перемещается с позиции на позицию. Лихо заломленная смушковая папаха со звездочкою, буденновская длиннополая шинель с красными хлястиками на груди, болтающаяся кривая шашка с золотым эфесом, парабеллум в кобуре на ремне портупей, само собою – шпоры, притянутые ремешками к задникам сапог, – без слов говорили о том, что Мамонт Петрович достаточно порубил беляков кривой шашкою, если получил ее в дар от Реввоенсовета республики, и немало успокоил врагов из парабеллума, коль приклепали к рукоятке оружия серебряную дарственную пластину от главкома Пятой армии.

Но Мамонт Петрович шел не на войну, а с войны: наелся войной по горловую косточку.

Дымчатая синь-тайга да вороны встречались вояке на дороге. Под ногами ледок Амыла. Вешний, пористый. Подковки мягко бряцают по льду. Хорошо. Радостно Мамонту Петровичу. Над Амылом курилось волглое марево: солнышко плавало в белесой пене. Куда только мог хватить глаз, не видно было ни души. Справа – отвесные горы. И где-то там, на горах, качали мохнатые вершины сосны и пихты. По крутым местам взгорий карабкались вверх березки. Слева тайга, и кто ее знает, куда она ушла!..

Как-то там, в Белой Елани! Аркадий Зырян, бывшие партизаны отряда Головни, и вот еще Евдокия Елизаровна. Уезжая из Белой Елани, он успел поговорить с Дуней. Откровения особого не было – про любовь там, вздохи и всякое прочее, буржуйское, но Мамонт Петрович сказал-таки, если Евдокия Елизаровна не брезгует им, кузнецом, то пусть ждет его возвращения, и они потом вместе одним мехом будут раздувать угли в советской кузнице. Дуня обещала ждать. «Мной бы не побрезговал, Мамонт Петрович, – сказала ему. – А я буду ждать с радостью». Ждет ли? Не надеялся. Это же Дуня Юскова!..

Вдруг Мамонт Петрович остановился, широко распахнув глаза: прямо перед его носом из-за тороса выглядывал широкий, как печная заслонка, зад бурого медведя.

– Едрит твою в кандибобер! – ахнул Мамонт Петрович, и зад медведя моментально скрылся за торосом. – Стой, гад! Стреляю! Стой!

Медведь припустил по льду такой рысью, что ему мог бы позавидовать рысак.

Мамонт Петрович кинулся следом с парабеллумом в руке. Торосы мешали бежать, и он раза два разостлался на льду во весь свой богатырский рост, гремя военными доспехами. Медведь ухал, шпарил что есть силы. Кто-то не вовремя поднял лежебоку из берлоги, вот он и шатался, перебираясь с одного берега Амыла на другой. Добежал до огромной полыньи. Сунул лапу в воду, ухнул сердито, повел головою в одну сторону, другую, а сзади выстрелы – бах, бах, бах! Одна пуля влипла в стегно, и медведь, рывкнув во всю медвежью глотку, прыгнул в полынью, аж брызги посыпались во все стороны, и поплыл. Мамонт Петрович добежал до полыньи, посмотрел на пятна крови, а сам медведь тем временем вылез на лед с другой стороны и – дай бог ноги!..

– Ушел, каналья! – не то пожалел, не то обрадовался Мамонт Петрович, пряча парабеллум в кобуру. – Вот бы Евдокии Елизаровне был подарочек! Шкуру я бы сам выделал. Встал утром, опустил ноги на шкуру и, пжалста, закуривай!

И Мамонт Петрович закурил японскую сигаретку, а шкура для Евдокии Елизаровны, ухая от радости, что уцелела, косолапила в тайгу.

II

Куда он шел, Мамонт Петрович? Не в ту ли сторону, куда пригнали его по этапу еще при царском прижиме на вечное поселение, и он не обрел в глухомани ни семьи, ни дома, а так и остался одиноким бобылем! Какая неведомая сила тянула его в таежную глушь, он и сам того не разумел. А ведь мог бы теперь уехать в родную Тулу на оружейный завод, на котором в раннюю пору стал кузнецом, а отец слыл за такого умельца, что и блоху знаменитого Левши мог бы подковать! Мамонт Петрович запомнил Тулу, Москву и всю Расею-матушку – студеная Сибирь спеленала по рукам и ногам, и он не помышлял своей дальнейшей жизни без людей тайги. Он был кузнецом, политиком в доме Зыряна, повстанцем и командиром партизанского отряда – здесь его отчий край, не в Туле розовой юности.

Он не думал кого-то обрадовать своим возвращением в Белую Елань – тут живут люди, скупые на праздное слово, зато цепкие, звонкие и размашистые, как сама матушка-тайга!..

Долго шел трактом по займищу; солнце ткнулось в сияющие хребты Саян, и стало холодно: схватывался ледок на лужах, потрескивая, как стекло, под сапогами кавалериста. Плечи одеревенели от тяжести мешка на лямках. Что было натолкано в заплечный мешок, пуда в два весом, неизвестно; Мамонту Петровичу не привыкать к выюкам. За годы гражданки он привык к большим переходам и ко всяким тяжестям. «Мамонт вывезет!» – обычно говорили о нем товарищи.

Минуя деревню, Мамонт Петрович завернул в окраинную избушку: нет ли у хозяйшки чайку или кринки молока?

– Экий молосный! – усмехнулась ладная чалдонка, плеснув в лицо Мамонта Петровича карий свет своих любопытных глаз. – Из Красной армии, поди?

– Из Красной армии.

– На побывку, чать? При оружие-то.

– Насовсем. Оружие у меня именное – навечно останется со мной.

И словно тучка насунулась на лицо хозяйшки в бумазейной кофтенке, полногрудой, изождавшейся мужской ласки.

– А мой-то сгил до Красной армии в партизанах, – печально прошелестели вдовушкины слова. – Век горевать одной да ребятишек рбстить. Трое сирот осталось.

– А где он был в партизанах, ваш муж?

– На восстанье сперва ушел, ишшо когда белые власть взяли, а как разбили восстанье – с отрядом Мамонта Головни скрылся в тайгу и там сгил.

– По фамилии как?

– Ржанов. Петр Евсеевич. Вот ездила осенью в коммуны возле Курагиной. Партизаны Головни сторнизовали там коммуны в экономии Юскова. Крупчатный завод у них, коней и коров много. Встрела одного коммунарского, по фамилии Зырян. Мельницей управляет. Он тоже у Головни в отряде. Сказывал, будто отряд ихний на прииски пришел, а управляющий прииска выдал их карателям. Сонных захватили на заимке – семеро спаслось токо. А карателями командовал хорунжий Ложечников. Будь он проклят! Кабы я это знала, я б иво кипятком ошпарила, истинный бог!

– Как бы ты его могла ошпарить кипятком?

– Да у меня ведровый чугунок кипятка стоял в ту ночь в печке!

– В какой печке? – Мамонт Петрович решительно ничего не понимал.

– Да я не все обсказала вам, – спохватилась вдовушка. – До того как побывать мне в коммуне партизанской, за неделю так или чуть больше, заявились ко мне среди ночи четверо – двое мужчин и две женщины; изба-то у меня на самом краю деревни. Верхами приехали, и все при оружии – мужчины и женщины. Грязнущие, мокрые, не приведи господи. Дождина

полоскал всю ночь ту. Печь заставили топить, барана жарить, а сами разболوکлись и мокрое развесили сушить у печи. Ну, разговаривают промежду собой, а я все слышу – от кути далеко ли? Рядышком. Мужчины один другого называют по имени-отчеству.

– Так! Так! – насторожился Мамонт Петрович, забыв про чай и молоко.

– Один такой высокий, русский, поджарый – Гавриил Иннокентьевич.

– Ухоздвигов?!

– Он самый. Мне потом сказали. А другой – Анатолий Васильевич.

– Хорунжий Ложечников?!

– Кабы знатъе!

– Ну и что они? О чем говорили?

– Банда у них была большая, сабель триста, из казаков вся. Пробивались через Саяны в Урянхай, да их перехватили за Григорьевкой, растрепали вчистую – спаслось мало, окаянных. Жарю им мясо, сволочам, а они цапаются друг с другом, кто из них больше виноват, что их так растрепали. Сытый этот, Анатолий Васильевич, попрекал Евдокию Юскову, любовницу Ухоздвигова...

– Што-о-о? – вытаращил глаза Мамонт Петрович. – Евдокию Елизаровну?

– Али знаешь ее?

– Знал.

– Да вы откуда будете?

– Из тех же мест, кузнец.

– Кузнец? Ишь ты! А теперь, поди, командиром был в Красной армии?

– Командиром. Говори дальше. За что попрекал Ложечников Евдокию Елизаровну?

– Дык за разгром банды. Твоя, грит, сельсоветская потаскушка подвела всех нас под монастырь. Будто Гавриил Иннокентьевич посылал Евдокию Елизаровну в Ермаки и в Григорьевку, чтоб она все там разузнала про каких-то чонов.

– Части особого назначения?

– Вот-вот. Банды изничтожают.

– И что же она, не разузнала?

– По словам Ложечникова, выходило так, что она, Евдокия Елизаровна, будто снюхалась с теми чонами, и вся банда казаков угодила в западню за Григорьевкой. Пулеметами стрелили. Ну а сам Ухоздвигов защищал свою любовницу. Что она, дескать, знать ничего не знала про пулеметы чонов.

– Все может быть, и не знала, – кивнул Мамонт Петрович. – Ну и чем кончилась ссора?

– Не приведи бог, как они сцепились. Ребяенок моих перепугали в горнице, и меня у печи так трясло, что я руки себе обожгла в беспамятстве. Схватила голыми руками за сковороду с мясом. Ох, как они тузили друг друга и за револьверы хватались. И бабы промеж собой сцепились. Катерина какая-то, любовница Ложечникова, чуток не придушила Евдокию Елизаровну. Вот тут она ее в угол втиснула и душит, душит за горло. Кричит ей: «Шлюха ты красная! Всех как есть перекрутила и запутала!»! Какими только срамными словами она ее не обзывала – не слушать бы! А Ухоздвигов-то, хоть и поджарый, а верткий такой! Как поддаст, поддаст толстому Ложечникову, так тот в стену влипает. Стол опрокинули, посуду всю перемесили под ногами. Не знаю, чем бы кончилась ихняя потасовка, кабы не забежал в избу ишшо один бандит. Орет им: «Чоновцы выступили из Каратуза!» Ну, эти враз прикончили драку. Мужчины вышли на улицу, а бабы сопли да слезы растирали у себя по щекам, космы приглаживали.

Час так прошел; я увела ребятишек к суседке; бандиты вернулись – Ложечников с Ухоздвиговым потребовали мясо. Меня ударил бандюга Ложечников за пригорелое мясо. А то не понимает, как бы я сберегла мясо, когда они друг друга мутузили!

Самогонку из четверти пили. Похабствовали, и бабы с ними похабствовали. Ну прямо как свиньи. А меня так-то лихотит, так-то лихотит, глядячи на них. Потом Ухоздвигов куда-то ушел со своей полубовницей, а Ложечников с Катериной остались и спать легли в горнице на кровати. Там бы я их, если бы знатье, как он убил мово Петра, ошпарила бы кипятком. Истинный бог, ошпарила бы!..

Мамонт Петрович, сидя на лавке возле стола, крутил в пальцах свой русый ус. Евдокия Елизаровна! А он еще подарки для нее несет!.. В избу вошла девчушка лет одиннадцати в мужском полушубке с завернутыми рукавами. Остановилась у порога и смотрит исподлобья на незнакомого дядю.

– Что вы молоко-то не пьете? Крынку просили, а кружки не выпили.

Мамонт Петрович сыт – горячий камень застрял в глотке, на щеках желваки вспухают.

– Разбередила я вас, должно, рассказом про бандитов.

– Спасибо, хозяйюшка, – поблагодарил Мамонт Петрович и, чтобы вытравить несносную боль из сердца, отвлечься, спросил: – Ты не сказала, как партизаны в коммуне живут?

– Хорошо живут. Меня звали с ребятишками. Особенно этот Зырян, который про мужика мово рассказал мне.

– Самое верное дело для тебя – коммуна, – заверил Мамонт Петрович.

– Собираюсь вот. Двое ребятишек в коммуне теперь. У меня вить никакого хозяйства нет. Конь издох, осталась коровенка. Весною приедут за мной коммунары.

Собираясь уходить, Мамонт Петрович взялся за свой увесистый мешок, что-то вспомнил, развязал его, порывлся и вытащил богатющий узорчатый платок с кручеными кистями – трех баб завернуть можно, и еще один, наряднее первого, шелковый, японский; немислимые для крестьянки: кулек с рисом и пакетики с шоколадом, японскими галетами, с пряниками, черепаховый гребень – не волосы чесать, а чтоб голову украсить красавице. И все это добро положил на стол. Хозяйка смотрела на диковинные вещи недоумеая – богатством хвастается, что ли?

Мамонт Петрович так же молча завязал мешок и закинул его себе на плечи. Ремни поправил на шинели. Папаху надел.

– Ну, до свидания, хозяйюшка.

– А добро-то, добро-то оставили!

– На память тебе от партизана. Твой муж, Петр Евсеевич, погиб смертью храбрых за дело советской власти. Не сонный погиб, а с винтовкою в руках. И меня лично спас в том бою в тайге. В коммуне мы еще свидимся.

– Да постойте же! Постойте! – вцепилась хозяйюшка. – Хоть скажите, кто вы?

– Мамонт Петрович Головня.

– Бог ты мой! Бог ты мой! Сколь про вас слыхивала, а впервой вижу. Как же вы? Бог ты мой! Про Петеньку бы рассказали мне! Про Петеньку-то! Бог ты мой! Нюся, проси дяденьку, чтоб остался. Хоть на одну ночь с нами. За-ради бога! Про Петеньку-то!..

Мамонт Петрович стиснул зубы – самому бы не расплакаться, а вдовушка цепляется ему за плечи. Девчушка ревет.

– Мы еще свидимся. Как тебя звать-величать?

– Клавдеей звать. Ржанова. Ржанова. Бог ты мой! Да останьтесь же вы! Останьтесь. Куда на ночь глядя? Непогодь подымется. Останьтесь же! Про Петеньку расскажите.

Но разве мог Мамонт Петрович остаться, если у него в башке ералаш, а в горле камень катается? Евдокия Елизаровна!.. Хоть глоток холодного воздуха хватануть бы, чтоб не задохнуться.

– Свидимся в коммуне, Клавдия. В коммуне. Идти мне надо. Идти. Такое дело. Извиняй, пожалуйста. – И вывалился из вдовьей избы, не оглядываясь.

III

Небо затянуло лохматою овчиною. Непогодь. Вскоре повалил снег. Мокрые хлопья липли на лицо Мамонта Петровича, но он все шел, шел навстречу непогоды, чуть пригнув голову. В ложбине сбилсся с дороги, угодив в сугроб по пояс. Присел отдохнуть под кустом черемухи. Черные сучья качаются под напором ветра, циркают друг об дружку, а Мамонту Петровичу кажется, что это черные косы Дуни. Ветер сюсюкает в косах, издевается: «Не сsss тоообооой! Не сss тоообооой!»

Мамонт Петрович вскочил на ноги, зло уставился на куст черемухи с перепутанными голыми ветками. С визгом вылетела шашка из ножен и со всего плеча по черным косам Дуниных волос.

– Гадюка ползучая! Ррраз, рраз! Перед строем партизан речь говорил! В куски, в прах, ко всем чертям!

«Вззи, вззи, вззи!» – поет кривая шашка, отхватывая сук за суком у безвинной черемухи.

– Клялась, что навсегда повернулась лицом к мировой революции, а ты, оказывается, буржуазная гидра!..

Одеревенела рука, занемело плечо, а Мамонт Петрович, освобождая сердце от тяжести, рубил и рубил сучья черемухи...

Умаялся, сел передохнуть. Грудь вздымается, как мехи в кузнице. Если бы он знал!.. Он мог бы остаться на Дальнем Востоке. Его уговаривали поехать учиться в школу красных командиров, но он отказался. Человек он мирный, просто кузнец, и за оружие взялся по крайней необходимости. И он себя показал, что значит рука кузнеца с шашкою! Не раз побывал на свиданке со смертью; под Читою он со своим взводом потерпел полный разгром и угодил в лапы семеновцев. Сам некоронованный владыка Забайкалья допрашивал Мамонта Петровича в атаманском вагоне, грозился зажарить его живьем, но не удалось атаману привести свой замысел в исполнение: эшелон семеновцев слетел с рельсов, и Мамонт Головня бежал по шпалам до Читы. Тринадцать дырок насчитал в шинели, и хоть бы одна пуля царапнула – судьба берегла, что ли? Для каких же свершений она его берегла, хотел бы он знать!..

Командование кавалерийским полком считало его погибшим в Забайкалье и послало о том извещение в Белую Елань и Сагайскую волость. Мамонт Петрович не стал опровергать извещение: пусть считают погибшим. Некому особенно плакать о нем – ни жены, ни детей, а про родичей в Туле и не вспомнил даже. Он считал себя вечным солдатом мировой революции, а солдату не пристало носиться со своей персоной. И вот сейчас, возвращаясь к себе в Белую Елань, Мамонт Петрович ни в Каратузе, ни в Сагайске не назвался и никому не представился. Ни к чему! Он решил потихоньку добраться до Белой Елани, разузнать, что и как и кто где, а потом, возможно, так же тихо покинуть таежный угол. Жизнь коротка, а земля чересчур огромная, хотя у Мамонта и длинные ноги. Махнуть бы в Москву, что ли? В столицу мировой революции, поближе к Ленину!..

Не мог рассудить о себе: отчего у него вдруг ярость разыгралась? Какое ему дело до Дуни Юсковой? Ну, в банде! Рано или поздно сломит себе голову, ну и пусть! Ан нет! Ему не все равно. Как заноза в самое сердце.

Посвистывает ветерок в сучья черемух. Сыплется и сыплется снег на грозного солдата мировой революции, а самому солдату мерещится Дуня в медной мастерской деда Юскова. Она мешает ему вытачивать на станке серебряные и медные подвески и бляхи для наборных шлей и хомутов; она залезла на верстак и смотрит на него своими черными, влажно-блестящими глазами. Платье ее задралось, и он видит ее округлые колени.

«Политики могут любить?» – спрашивает Дуня.

«Такая подвеска не для шеи социалиста-революционера», – отвечает Мамонт Петрович.

«Ты социал-революционер? А что это такое?»

Он отвечает нечто пространное, в чем и сам плохо разобрался. Дуня хохочет.

«Я красивая? Скажи, красивая?»

«Очень даже красивая».

«В Туле есть такие красивые?»

«В Туле мне не до красавиц было».

«А почему ты такой высокий, как каланча?» – похохатывает Дуня.

«А это чтобы далеко видеть. Специально вытянулся. Из тайги Тулу вижу».

«И кого ты видишь в Туле?»

«Медные самовары».

«Ой, боженька! Медные самовары!» – заливается Дуня.

Он так и не мог объяснить себе в ту пору, отчего она липла к нему, моль таежная? Он помнит, как Дуня жаловалась ему на свирепого отца, на неприкаянность в родительском доме, и как ее испугал какой-то парень на рыжем коне в Каратузе, и она провалилась на экзаменах в гимназию. И еще вспомнил ту рождественскую ночь, когда Дуня прибежала к нему в избушку Трифона и просила его, умоляла, чтобы он спас ее от живодеров и увез бы куда-нибудь, а он не посмел дотронуться до нее – так далеко и невнятно он видел тогдашнюю Дуню! А именно она, тогдашняя, была ближе к нему, чем теперь.

Минули годы, и он, Мамонт Петрович, не признал в истасканной девице ту Дуню, которая когда-то опалила его своим горячим дыханием; перед ним была другая Дуня – грубая, курящая; не было в ней наивности прежней Дуни, чистоты и этакой сизой вязкости, как это бывает в летнюю пору в тайге, когда все кругом цветет и благоухает. И еще вспомнилась третья Дуня, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту; и в этой третьей, искаженной, как будто воскресла на одну ночь та первая, из медной мастерской. Теперь он, Мамонт Петрович, наверное, встретится с четвертой Дуней – из банды хорунжего Ложечникова...

А что, если Дуня и в самом деле ни в чем не повинна? Все может быть! Ухоздвигов с Ложечниковым просто запутали ее, и она им всем отомстила – подвела под чоновские пулеметы.

Надо подумать. Охолонуться. Казнить легче всего; миловать не всякому дано. Для милости надо иметь натуральную душу, а не овчину с барана.

Снег, снег и ветерок к тому же. Ветерок. Непогодь. По всему свету непогодь. Что-то ищут люди. Кидаются в крайности. Сбиваются с дороги, петляют, возвращаются старым следом и опять ищут, ищут, ищут, а кругом непогодь, непогодь, непогодь!

На век людской или на три века – непогодь?...

Что-то ищут люди...

Вечности или забвения?

Присыпает снежок Мамонта Петровича, ветерок посвистывает, убаюкивает, будто спать укладывает в белый пуховик.

Спать. Спать. Спать.

Откуда-то взялся дед Юсков, хромый. Угрожает: «На чей каравай рот раззявил, поселюга? Али ты не знаешь, какого мы роду-племени, Юсковы? За Дуню мы тебе век укоротим!»

Мамонт Петрович очнулся. За Дуню? Ах, да! Тогда она просила меня спасти ее от живодеров, а я отвез ее обратно к Юсковым на съедение волкам, едрит твою в кандибобер!..

Так оно и было.

Он самолично отвел агницу на закланье дьяволу.

Не с его ли легкой руки Дуню растерзали, истоптали, и он потом не признал в ней таежной лани и не то чтобы не удивился, а просто подумал, что так и должно – «буржуйская порода...»

Непогодь для всех пород одинаковая – и тем, и другим не сладко.

Кто-то сбился с пути, кто-то кого-то столкнул с дороги, ушел дальше, а оставшийся на обочине гибнет, и все проходят мимо – у каждого своих хлопот полон рот.

Суд свершен скорый и правый: сильный притаптывает слабого и приводит приговор в исполнение – втоптывает живьем в землю.

Так легче жить.

А легче ли?...

Выхватить вострую шашку из ножен и рубить сплеча черные косы Дуниных волос... и вместе с косами – голову? «Была не была! Не сбивайся с дороги!..»

«Нет, так жить в дальнейшем не будем, – туго проворачивает Мамонт Петрович, выбираясь на дорогу. – Если ее тут окончательно втоптали в грязь, я должен оказать ей помощь при наличии всего моего вооружения, а так и моих принципов. Был такой момент, когда она выручила нас, партизан, и не дрогнула – первая кинула бомбы в проклятый дом, в котором над ней свершили первую казнь. И я того не понял. Я должен был взять ее с собою в отряд».

Надо все разузнать и принять экстренные меры.

Мамонт Петрович буравит снег смушковой папахой...

IV

Невдалеке послышалось: «Геть, стерьва! Ннн-оо!»

Мамонт Петрович подождал на дороге. Кто-то ехал в кошеве. Когда кошева поравнялась с Мамонтом Петровичем, он без лишних слов запрыгнул в передок.

– А, матерь божья! – испугался возница. Еще один лежал, укутанный в доху – ни головы, ни ног, густо засыпанный снегом.

– Не подвезешь, хозяин?

– Да ты вже влез!

– В Белую Елань едешь?

– До Билой Илани, хай ей пузырь вскочет на самую холку. Геть, стерьва!.. Це больная лежит, не наступи. Хай спит. Угрелась пид дохою. Геть, геть! Нн-оо! Отвозил до Каратуза нарочного от того чона, шо банды стреляют, да ще хфершала, бодай його комар. Всю дорогу хфершал тягал горилку, стерьва. Садился у Билой Илани на своих ногах... геть, сивый!.. а в том Каратузе слиз – ни ума, ни памяти. Я иму кажу дорогой: «Це горилка у вас, чи що?» А вин мене: ни, каже, це такая желудочная хикстура. Страдаю, кажет, желудком. А как пидъихали до больницы в Каратузе, вин вже ни матки, ни батьки, ничего не разумее. Храпит, як хряк. С тем парнем, нарочным чона, вытащили его з кошевы, а вин кричит на всю улицу: «Клизьму поставлю зараз!» Во скотиняка. Ннн-о, сивый!

Мамонт Петрович стянул выюк со спины и положил его к себе под ноги, пристроившись на облучке, спиной к ветру и мокрому снегу. На папаху накиннул суконный башлык и завязал уши и щеки.

– А ты, часом, не комиссар, га?

– Не комиссар. С Дальнего Востока. С Красной армии.

– Из Билой Илани?

– Иду туда.

Мамонт Петрович не называл себя встречным и поперечным – ни к чему лясы точить.

– Японцев мурдовали?

– И японцев, и англичан, и американцев с французами. Всю мировую контру пихнули в океан с нашего берега.

– Эге ж. Доброе дило. Нн-о, сивый! Геть, геть! Дюже ленивый мерин, стерьва його матке. Винтит хвостом, як та хвороба, а рыси нима. В плуге тягае за два коня. Кабы себе такого конягу!

– А чей конь?

– Маркела Зуева. Мабуть, знаете?

– Нет. Не знаю.

– А богатеи Потылицыных знали? Казаки були стороны Предивной. С того Каратуза переихалы у Билую Елань, щоб добрые земли занять.

– А! Но ведь Потылицыных истребили партизаны?

– Стребили. А Маркел Зуев поставил свою хату на погорелье тих Потылицыных, эге ж. Сперва була хата, а зараз ще дом поставили. Два сына поженил, худобы накупил, земли мае бильше, чим було у Потылицыных. Крупорушку купил, сенокоски, жатки, молотилку, маслобойню поставил. Эге ж! В его хате на погорелье зараз я живу с семьею, роблю на куркуля и подводу гоняю за него. Була у мене своя хата на стороне Щедринки, худоба была, да спалили белые хату, хай им лихо. Худобу забрали, а мене плетей надовали, поганцы. Кажуть: «Ложись, кум Головни, влупим тебе плетей». И влупили. Добре влупили.

Мамонт Петрович присмотрелся к хохлу:

– Как так – «кум Головни»?

– Мабудь, знали Головню? Був головою тих партизан в нашей тайге. И ковалем був ще до войны. Дюже добрый коваль був, хай иму на тим свити мягко буде спати.

– А как он стал твоим кумом?

– А так. Ще в четырнадцатом роки, в травень жинка моя, Гарпина, прийшла к нему в кузню, щоб косу склепал. Стал он клепать ту косу, а Гарпину попросил раздуть мехи – один був в кузне. А Гарпина моя, бодай ие комар, в тягости була. Эге ж. Скико раз рожае, и все не так, як трибо. Ще на другой год, як мы поженились, родила, хвороба, пид короною. Ивась вырос. Добрый мужик. Геть, геть, сивый! Нн-о, стерва! А после Ивася родився Павло. Жили мы еще на своем хуторе на Полтавщине. Пид самое Рождество случилось. Парубки з дивчинами калядовали, и моя жинка з ними калядовала. А потом як схватит ие, хворобу, а парубки с дивчинами хохочут, стервы, катают ие по снегу, а она вже родила. Эге ж. Так и принесли в хату ряженую и з дитятей.

Мамонт Петрович все вспомнил, но терпеливо слушал быль кума, потягивая японскую сигаретку.

– И в кузне Головни случилось. Схватило Гарпину, вона скручилась, хвороба, кричит Головне: «Ой, лихочко! Зови, каже, якусь бабку чи старуху. Родить буду». Эге ж. Головня туда, сюда – никого нима. Зовет на помощь тих староверок, що двумя перстами хрестятся, а они, ведьмяки, не идут. Бо им никак нельзя по их дурной вере принять дитину от бабы шо в цирковь ходить, бодай их комар. А до нашей Щедринки бежать далеко. И шо ты думаешь, добрый чоловік? Тот Головня сам принял дитяту у моей жинки. Геть, стерва! С того и стал моим кумом. До билых вин був головой ревкома – куркулей смолил той продрозверсткой. Добре смолил! Как праздник, чи шо, вин вже подарок своей крестнице несе – конхфеты, чи на платье, чи сам зробит якусь диковину. И дочка до того полюбила йго, шо до сего роки где: не придет ли крестный тато? Где мий тато, каже; чи скоро приде? Ждет, хвороба. Вумная да красивая растет дивчина, эге ж. Девятый рок пиде з лита, а она вже картинки малует, букварь читает. Мабуть, мордописцем буде, га?

Так, значит, есть хоть одна живая душа, которая ждет возвращения Мамонта Петровича! Как он мог забыть про крестницу Анютку? Да и самого кума Ткачука не узнал – бедняка из поселенцев Щедринки.

Анютка!.. Нету у Мамонта Петровича подарка для крестницы Анютки, да он и не вспоминал про нее; для Дуни складывал в мешок диковинки из японских, французских и английских трофеев; для Дуни тащился в глухомань за тридевять земель, хотя и сам себе не мог бы признаться в том.

Снег все так же метет в кошеву, лениво шлепает копытами мерин – ни рысью, ни шагом.

Под дохой кто-то пошевелился.

– Как тут партизаны живут? – спросил Мамонт Петрович, только бы не думать про Дуню.

– Хай их перцем посыпят, тих партизан, – плюнул кум Головни, понужая сивого. – На кажинной сходке выхваляются друг перед другом, хто из них був главнейший, вумнейший, храбрейший, а того не разумеют, головы, шо вси разом були не вумнейши, не храбрейши, а як ти зайцы – трусливейши, эге ж. В тайгу поховались от мобилизации, и как тико у билых була гулянка, чи шо, вылезали из тайги ночью, кусали билых за ноги, забирали у мужиков худобу чи хлеб, и опять ховались в тайгу, стервы.

Мамонт Петрович готов был выпрыгнуть из кошевы от подобного поношения красных партизан.

– Как так «трусливейшие зайцы»?

– А як же? Зайцы! Колчак як правил, так и правил бы, кабы не Красная армия з Расеи. Вот ты, добрый чоловік, з Красной армии...

– А тебе известно, – напомнил «добрый чоловік», – что вся Енисейская губерния горела под ногами колчаковцев?

– А як же! Горела! Красная армия пидпалила.

– А партизаны...

– Я ж говорю: ховались, стервы, по тайге чи по заимкам. Налетали на тих билых, когда билых було мало чи совсем не було, а мужиков грабили, скотину забирали, а зараз похваляются, як воны завоевали советскую власть, и грудь себе бьют кулаками. Глядите на них! Тьфу.

У Мамонта Петровича дух перехватило – до того он разозлился на кума. Как можно так говорить про красных партизан?!

А кум Ткачук зудит:

– Кабы у того Колчака було чим заслониться от Красной армии з Расеи, вин тих партизан зловил бы и стребил бы, як чоны стребили банду Ложечникова. И самого Ложечникова споймали, эге ж.

– А тебе известно, кто прикончил карателей есаула Потылицына в Белой Елани? – еще раз сдержанно напомнил Мамонт Петрович.

– Евдокея Юскова стребила, – ответил кум Ткачук. У Мамонта Петровича папаха съехала на лоб – так он потряхнул головой. – Це ж такая дивчина, кабы вы ие знали! Эге ж. Хай ей сон сладкий снится зараз. – Кум Ткачук покосился на человека под дохою; Мамонт Петрович не заметил взгляда кума. – Позвала партизан Головни на Масленицу, когда тот поганый есаул Потылицын со своими казаками гульбу устроил у Билой Илани. Эге ж. А Евдокея припасла гостинцев для есаула: бомбы, пулеметы, тико рук не було – гукнула партизан. А у того Головни чи десять, чи пятнадцать партизан осталось в живых – сгибли все; белые стребили.

У Мамонта Петровича не нашлось слов, чтобы отместить навет на его славных партизан, а кум Ткачук, не замечая перемен в попутчике, дополнил:

– Це ж такая отчаянная голова! Эге ж. Сама бросила бомбы в свой дом, где гуляли казаки. Тут и партизаны подмогли. Ох и лупили! Пять домов спалили в ту ночь. И утекли на Енисей, бодай их комар, а Евдокею бросили. Во головы!

Мамонт Петрович промолчал.

– Сам кум Головня, – продолжал Ткачук, – когда уезд заняли партизаны и Евдокея возвратилась у Билую Илань, говорил, шо она была главнейшая по стрелению карателей Потылицына. И я ту речь слушал, эге ж. Дюже гарно говорил кум. Такой вин був правидный чоловик.

Мамонт Петрович окончательно притих. Он, конечно, «правидный чоловик», а вот кум Ткачук все переврал.

– Она сейчас в банде Ложечникова?

– Про кого пытаешь?

– Про Евдокию Юскову.

– О матьер божья! Це ж брехня, грець ей в гриву!.. Балакали про Евдокею Елизаровну, шо вона ушла в банду. Да не так було. Ни. Ще в прошлом роки до снигу приихала Евдокея Елизаровна в Билую Илань с командиром отряда того чона, Петрушиным. Собрание було. Командир тот, Петрушин, балакал, шо Евдокея Елизаровна помогла йго отряду стребить главные силы банды Ложечникова. Во как! И стала она опять секлетарем у сельсовете, да бандиты не змирились: пид Рождество скараулили ие да с винтовки стреляли по ней. А живая осталась, живая! О, то и оно! Самого Ложечникова споймали с йго Катериной, хай им лихо. Мабуть, отправят в Минусинск в тюрьму. Кабы не мене в подводе быти, грець им в гриву!..

– А Ухоздвигов пойман?

– Нима Ухоздвигова. Не було в банде.

– Осенью он был в банде.

– Спытать надо Евдокею, она, мабуть, знае: був чи не. Геть, сивый! А ты, я бачу, в сапогах? Чи мороз не бере?

Из-под дохи раздался невнятный голос живой души. Мамонт Петрович не спросил, кто лежит в кошеве под дохою. Если бы он знал, что рядом с ним была та самая Дуня!..

V

Дуне снился странный сон.

Она видела себя девчонкой в нарядном батистовом платье. И на руках ее была девочка – ее дочь. Она не помнит, как родила дочурку, она просто радовалась, что на ее руках малюхонькая дочь. Она видит себя на резном крыльце отчего дома – того дома, который сожгла двумя бомбами. В ограде много-много гусей. Вожак-гусак бродит по ограде с красным бантом на шее. Вокруг него гусыни – одинаково белые, одинаково краснолапые, одинаково гогочущие. Маленькой Дуне холодно, но она сидит на крыльце и ждет Гавриила Ухоздвигова. Он должен увидеть, какая у него красивая дочь родилась. Но его нет. Вдруг подошел отец – чернушная борода, медвежий взгляд и голос зверя:

– А, тварь! Народила мне, курва прохойдонская! В пыль, в потроха, живьем в землю! Раззорррву!

Дуне страшно. За себя, за маленькую дочку. Он убьет ее, убьет!

– Боженька!..

– В пыль, в потроха! Марш, сударыня, полы мыть в доме. Вылижи языком до блеска, чтоб лакированными стали. Мотри!

И она, Дуня, моет полы в доме. Моет, моет, а грязь все ползет и ползет – вековая грязь от Сотворения мира. В ушах будто зазвенели малиновые колокольчики. Тоненько-тоненько. И она, теряя силы, падает в холодный колодец. Чашечку бы чаю!

Здоровенный полицейский навинчивает крендельки усов:

– Чашечку чаю? Чашечку? Не будет тебе чаю, проститутка! Отвечай: при каких обстоятельствах ударил тебя ножом господин Завьялов, акцизный стряпчий! Не ври! Упреждаю. Деньги вымогала?

Дуня не помнит, что она вымогала у господина Завьялова. Это он, стряпчий, истязал ее, совал в губы замусоленную трешку, предупреждая: «Бери, шлюха, да помни! Ежли еще раз отвернешь от меня рыло – шелкну, как гниду!»

Гусак орет на всю ограду:

– Го-го-го-го-го!..

Дуня проснулась не от голосов разговаривающих мужчин, а от сильного толчка изнутри – ребенок, которого она еще не родила, пошевелился в ней. У нее будет ребенок. Сама себе не верила, что станет матерью. Она хотела стать матерью и боялась того. Она не посмеет назвать имя отца ребенка, не назовет его отчеством – изгой, скрывающийся под чужой фамилией...

Холодно Дуне. Настыли ноги в пимах – пальцы как будто одеревенели. Переменила положение, привстала чуть, отвернув с лица воротник дохи. Белая мгла. Ночь. Ткачук ворочается рядом и понуждает мерина. Кто-то сидит в башлыке на облучке кошевы. Кто это?

Дуня прислушалась к разговору мужчин.

– Була б для моего кума добрая жинка, – говорит Ткачук. О ком это он? – Сама балакала мне, шо кум Головня, колысь уходил з Билой Илани с тими партизанами на Красноярск, сказал ей: «Жди мене, Дуня. Возвернусь с войны – жить будем». Добре говорил кум, эге ж. Да не сбылось. Как тико прислали дурную весть у сельсовет, шо Мамонт Петрович сгиб где-то в бою, Евдокея сама сменила себе хвамилию и стала Головней.

– Головней?!

– А то як же, Головней. Кабы не подстрелил злодей, хай ему лихо, бандюге. Мой куркуль, Маркел Зуев, лютуе: здохла бы, каже, стерва. Бо вина сама свой дом пидпалила бомбами; мать ридную сгубила. Эге ж. А того не разумеет, куркуль, шо це був за дом! Злодияки, какого свит не бачил.

Дуня благодарна была Ткачуку за такие слова; не все клянут ее, как злодейку. А кто же этот, в шинели и в башлыке?

– А кто у вас председатель сельсовета? – спрашивает Ткачука человек в башлыке.

– Куркуль из кержаков, Егор Вавилов. Партизаном був у Головни. Богато живе, стерва. Був партизан Зырян головою сельрады, зараз в коммуну ухав.

– Вот бы и ты поехал в коммуну – для бедняков в самый раз.

– Эге! В той коммуне не жити, а волком выти, – ответил Ткачук. – Сбежались людины со всех деревень – не робить, а скотину гробить. Економию того Юскова жрут – коров режут на мясо, мукомольный завод мают, песни спивают. Як сожрут всю економию – разбегутся. Один до лиса, другой до биса. Эге ж.

– Едрит твою в кандибобер! – выругался человек в шинели и в башлыке. Дуня вздрогнула – знакомый голос. До ужаса знакомый голос! – Вонючий ты мужик, Ткачук. Определенно вонючий. На коммуну сморкаешься, на партизан плюешь, а чем ты сам живешь, спрашиваю?!

«Боженька. Боженька! Неужели?» – испугалась Дуня, напряженно приглядываясь к человеку на облучке кошевы.

– О, мать божья!..

– Нет, погоди, кум! Кто тебе вдолбил в башку вредные рассуждения про коммуну и партизан? – гремит человек в шинели. – Если бы не наши красные партизаны, Колчак мог бы в пять раз больше бросить белогвардейцев на фронт с Красной армией. Известно это тебе или нет? А кто разгромил войско атамана Болотова в Белоцарске? Кто вымел белых ко всем чертям из Минусинского уезда еще до прихода Красной армии в Сибирь? Попался бы ты ко мне в отряд, едрит твою в кандибобер!..

– Мать божья! Ратуйте! – воскликнул Ткачук и вожжи выпустил из рук. – Це ж сам Мамонт Петрович, га! А штоб мои очи повылазили – кума не признал. – Оглянулся на Дуню. – Не спишь, живая душа? Дивись, дивись, це ж твой мужик, Евдокея.

А Дуня все смотрела и смотрела на Мамонта Петровича, не веря собственным глазам. Он ли?! Неужели Головня? Как же она теперь? Фамилию его присвоила себе, чтоб навсегда откреститься от злополучного рода Юсковых. И вдруг!..

И у Мамонта Петровича дух занялся, аж в глотке жарко. Ничего подобного он, понятно, не ожидал. Вот так свиданьице подкинула судьба! Мало того что перед ним Дуня – Евдокия Елизаровна, так еще и по фамилии Головня! Значит, не запаматовала Мамонта Петровича! А он только что сплеча рубил шашкою ее чернущие косы – ветки черемухи. И голову срубил бы под горячую руку.

«Едрит твою в кандибобер, какая ситуация!» – только и подумал Мамонт Петрович, стягивая с рук шерстяные перчатки. Башлык зачем-то развязал, откинул его за спину; папаху поправил, шашку между коленями. А снег сыплет и сыплет. Ветерок скулит. А кум Ткачук подкидывает:

– А, грець вам в гриву! Чаво ж вы очи устави́ли друг на друга, тай молчите, як те сычи у гае! Мать божья, гляди на них! Чоловик с жинкою повстричался, и хоть бы почоломкались, грець им в гриву. Да я б жинку свою зараз затискал! За пазуху б ей руки, щєб жарко було, ей-бо! Чи у красных, кум, кровь не рудая, а билая да студєная? Ай-яй, грець вам в гриву!

– Боженька! Боженька! – едва-едва выдавила из себя Дуня, глядя на Головню, возвышающегося на облучке, как памятник на постаменте.

– Евдокия Елизаровна, – натужно провернул Мамонт Петрович; за всю свою жизнь он еще ни разу не целовал женщину. – Думать о том не мог, что встречу вас, следственно, на дороге, в данной ситуации.

– Ще це за ситуация, кум?

– Мамонт Петрович! Если бы я знала... я бы... я бы не посмела фамилию вашу, – бормочет Дуня. – Случилось так... не могла оставаться Юсковой... кругом все тычут в глаза... Юскова, Юскова... взорвала своих родных бомбами...

– Дивись на них, нибо! – воскликнул неугомонный кум Ткачук. – Друг друга навеличивают, як ти свергнутые паны. Геть, сивый!..

– Я... я напишу заявление...

– Геть, геть, сивый! Ннн-о! А щоб тобі копыты поотваливались!.. Они вже бегут! Один до лиса, другой до биса. Цоб мене!

Мамонт Петрович окаменел на некоторое время. Он слышал, что ему говорила Дуня, а высказать себе не мог. Да разве он в чем-то попрекает Евдокию Елизаровну? Но в данной диспозиции боя, так сказать, он еще не сообразил, с какого фланга надо начать атаку.

– Боженька! Пусть я останусь Юсковой... если... если у меня такая злая судьба...

– А, мать божья! Дуня, бери мою хвамилию, бодай ие комар. Хай я не партизан – грець им в гриву! Но хвамилия Ткачука добрая. И будимо мы тебя кохати, Дуня, як родную дочку, ей-бо! И я, и Гарпина, Ивась, старший, Павло, Микола, Саломея, Хведосья, Анютка, Аринка малая. Вси зараз будимо тебе риднее ридных, бодай нас комар!

Дуня расплакалась от таких простых и сердечных слов Ткачука, и сам Ткачук вытирает слезы на рукавицы, а Мамонт Петрович, окончательно сбитый с толку, выпрямившись аршином на облучке, таращится на них, машинально ухватившись за эфес пашки.

Ткачук заметил, что кум Головня схватился за пашку, и пуце в слезу:

– Рубай нас, кум Головня! Рубай пашкой!

– Едрит твою в кандибобер! Замолкни сей момент! – взыграл на самых высоких нотах Мамонт Петрович, только бы подавить в себе растерянность и великое смущение.

– Рубай нас, кум! Рубай! Який ты есть...

– Замолкни, Ткачук!

– Мать божья, як мене змолкнуть, колысь рядом слезы точит живая душа, и нима у ней малой хвылины, яка б защитила ие! Не повезу я тебе дальше, товарищ Головня. Не можно! Тпрру!

И тут произошло совершенно невероятное, к чему никак не подготовился речистый кум Ткачук: Мамонт Петрович сграбастал его и выбросил вон в снег. «Рааа-туйте!» – заорал кум Ткачук, а Мамонт Петрович никакого на него внимания. Опустился рядом с плачущей Дуней, неловко обнял ее вместе с дохою и сказал, что он окончательно рад, что встретил ее на дороге.

– В данной ситуации, как я тебе дал слово, прямо заявляю, что я имею полную ответственность, – трубил Мамонт Петрович, будто Дуня была глухая.

– Не надо! Не надо! – испугалась Дуня. – Я сама кругом запуталась.

– Никакой путаницы. Жить будем, как я дал слово.

– Чи можно мене сидать в кошеву? – спросил кум Ткачук.

– Садись да молчи. Упреждаю.

– Добже! – Ткачук занял место на облучке. – Геть, сивый! Ннно!

Поехали.

VI

Едут...

Месят копытами ночь со снегом и волглым ветром.

Едут к живым в жилое.

Дуня пожаловалась Мамонту, что ее всю трясет и она никак не может согреться.

На этот раз Мамонт Петрович проявил сообразительность. Поближе, поближе, вот так; одним теплом живо согреемся, и таежная лань – долгожданная лань прильнула к нему, а кум Ткачук укутал их сверху дохою, довольный, что грозный Головня наконец-то смягчил свою партизанскую душу и слился с жинкою; геть, сивый! Геть!

А под дохою в угревье свой мир и свои сказки-побаски...

– Боженька! Как все неожиданно произошло, – лопочет Дуня, пригретая Мамонтом Петровичем, и он отвечает ей:

– Очень даже великолепно произошло. Теперь я окончательно и бесповоротно воскрес из мертвых. За такую ситуацию я бы еще три года пластался на позиции.

– Не надо больше позиций, Мамонт Петрович. Я так рада, что вы вернулись. Если бы я знала, что вы живой... но я теперь не одна...

– Само собою, Дуня. Нас теперь двое. Окончательно и бесповоротно, – ответил Мамонт Петрович и, призвав на помощь всю свою отвагу и отчаянность, поцеловал Дуню в щеку, а Дуня лопочет, что она не одна совсем в другом смысле; она беременна.

– У меня будет ребенок. Нет, нет! Я не замужем. Он убит бандитами. Я только что узнала в Каратузе. Он был командиром Минусинского отряда ЧОН и погиб в бою с бандой Ложечникова. Сергей Петрушин, – соврала Дуня. Надо же кого-то назвать отцом своего будущего ребенка. – Он мне говорил, что вместе с вами был у Щетинкина.

– Петрушин? Сергей Петрушин? Очень даже великолепно помню, – ответил Мамонт Петрович. – Так, значит, он был командиром отряда чон? В нашей крестьянской армии он командовал всей нашей артиллерией. Из унтер-офицеров. Справедливый большевик и полностью за мировую революцию. А тебе, Дуня, скажу так: тут никакой твоей вины нету. Такое наше время. Если будет ребенок – само собою будет, – вырастим, следственно. Никаких разговоров быть не может.

– Боженька! Я такая несчастная! – еще теснее прижалась Дуня к Мамонту Петровичу, вдруг вспомнив не Сергея Петрушина, погибшего от рук бандитов, а Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова. Но разве посмеет она сказать грозному партизану Головне, что ребенка ждет вовсе не от Петрушина, а от Ухоздвигова!

Хорошо Мамонту Петровичу сидеть в обнимку с Дуней; таежная лань, у которой так красиво выгибались ладони лодочками, и сама она в свои пятнадцать лет была нетерпеливая, призывно-ищущая, наконец-то угрелась под полою его шинели, и губы ее жаркие, жалящие будто накалили до белого свечения сердце кузнеца, впору хоть подкову из него куй, и Мамонт Петрович, впервые вкусив сладость женских губ, опьянел и до того размягчился, что готов был примириться со всем белым светом. А со стороны, как бы с другой планеты, доносится песня кума Ткачука:

Ой, хмелю ж мий, хмелю —
Хмелю зелененький,

Де ж ти, хмелю, зиму зимував,
Що й не развивався...
Ой, сину, мий сину,

Сину молоденький...
Де ж ти, сину, ничку ночував,
Що й не разувався...

Поет кум Ткачук, радуется кум Ткачук в предвкушении свадьбы грозного кума Головни. Мерин винтит хвостом, а рыси не прибавляет.

На дороге послышалось гиканье – кто-то ехал следом.

– Эй, с дороги! С дороги!

Ткачук свернул в сторону. Кто-то пролетел на тройке, впряженной гусем. В кошеве ехали четверо, торчали пики винтовок. И еще пара лошадей, впряженных в сани. Ткачук разглядел пулемет:

– Матерь божья, гляди, кум!

Еще одни сани с пулеметом и люди с винтовками. И еще такие же сани. Конные в полушубках. Карабины за плечами, при пашках, только копыта пощелкивают. Карабины, пашки. Рысью, рысью, рысью.

Ткачук притих на облучке, сгорбился; Мамонт Петрович успел пересчитать конных – семьдесят пять всадников.

– Мабудь, казаки, а?

Дуня слышала в больнице Каратуза, что позавчера будто восстали казаки в Саянской и Таштыпской станицах.

Мамонт Петрович подумал вслух:

– Если это банда, чоновцы в Белой Елани дадут им бой.

– Скико, кум, тих чонов у Билой Илани? Чи тридцать, чи сорок.

– Без паники. Поехали. Если услышим выстрелы, сообразим, как быть в дальнейшем.

Выстрелов не было, и они поехали в деревню мимо кладбища. По другую сторону от кладбища, среди голых вековых берез, чернело пепелище сожженного дома Ефимии Аввакумовны Юсковой – белые сожгли...

У первой же избы – приисковой забегаловки – поперек улицы стояли сани с пулеметом. Лошади кормились возле изгороди. Трое с карабинами стояли на середине улицы.

– Стой! Кто едет?

Подшли к кошеве. Мамонт Петрович накинул на себя доху, чтоб оружия не было видно. Ткачук сказал, что он здешний и к нему в гости едет кузнец с жинкою.

– Кузнец? Папаха на нем офицерская. И шинель под дохою. А ну, руки вверх! Без шуточек. Офицер?

Дуня кого-то узнала:

– Иванчуков? Не признал меня? Евдокия Головня. А это Мамонт Петрович Головня. Мы его считали погибшим, а он вот вернулся из армии. А я испугалась – не казаки ли!

– Головня? А документы есть, что вы – Головня?

Мамонт Петрович достал документы. Чоновец в полушубке и в шапке-ушанке попросил товарища посветить спичками.

– Ого! Награду имеете от Реввоенсовета республики? Здорово! Просим извинения, товарищ Головня. Про вас я много слышал. Тут у нас сейчас военное положение. Ожидается налет казаков. Главарей банды собираются отбить. Ну вот. Товарища Гончарова знаете? Он у вас был партизаном. Сейчас он начальник ОГПУ. А председатель ревтрибунала – Кашинцев, из Красноярска. В школе заседает трибунал. Судят главарей. Может, заедете к нам в штаб? Командир отряда, Сергей Петрушин, убит. Знаете? Ну вот. Так что извините, товарищ Головня.

Когда отъехали от чоновцев, Ткачук сказал:

– Колысь тико кончится лютая хмара, грець ей в гриву. З Полтавщины пишут: то один батька литае, то другий, то чоны, а як людям жити?

– Раздавим буржуазную гидру и жить будем, – заверил Мамонт Петрович, стоя в кошеве, как фараон в двухколесной таратайке. Дуня посматривала на него с некоторым страхом – не шутка быть женою грозного Мамонта Головни! – Заедем в штаб чона. Как ты, Дуня?

– Я так себя плохо чувствую, Мамонт Петрович, – пожаловалась Дуня. – Три месяца вылежала в больнице. Не знаю, пустит ли меня в дом Меланья Боровикова. Я у них стояла на квартире, до того как меня подстрелили на улице.

– Отвези, Ткачук, к Боровиковым. Подними Меланью и скажи от моего имени, чтоб все было как полагается. Без всяких старорежимных фокусов и тополевых запретов. Ясно? И чтоб самовар был готов к моему приходу. Чин чином. Поезжай. Мешок мой занесешь в горницу жены.

Дуня не ослышалась – Мамонт Петрович так и сказал: «в горницу жены». Впервые Дуню назвали женою, да еще кто – Мамонт! Не радость, а мороз от головы до пяток. А что скажешь?!

VII

Как будто ничего не переменялось за три года на большаке стороны Предивной, а Мамонт Петрович не узнает улицу. На пепелище Потылицыных чья-то изба поставлена, а рядом новехонький, еще не отделанный, без наличников и ставней крестовый дом Маркела Зуева – одиннадцать полукруглых окон в улицу. Такой поздний час, а в пяти окнах горит свет – розовые шторы, отчего в улицу сочатся кровавые отсветы. Еще три новых дома на пепелищах – застраиваются жители Предивной. В доме бывшего ревкома – сельсовет, и тут же штаб части особого назначения. Сани, сани, на крыльце станковый пулемет, и на санях пулеметы; красноармейцы с винтовками, часовые возле ворот и в улице. Захваченные бандиты: полсотни казаков, тридцать мужиков из тех, кому советская власть прищемила хвост за колчаковщину, и шесть женщин с ними, находились под усиленной охраной в сельсовете и в школе, где когда-то Мамонт Петрович размещался со своим первым ревкомом. В одной из комнат заседал ревтрибунал. Мамонта Петровича не допустили на закрытое заседание трибунала. Судили главарей банды: полковника Мансурова, подъесаула Коростылева, хорунжего Ложечникова и его верную сподвижницу, начальницу штаба банды – Катерину, и сотника из казачьего Каратуза Василия Шошина.

В ограде полыхал большой костер из старых бревен – грелись красноармейцы. Мамонту Петровичу приятно было, как на него с завистью поглядывали красноармейцы: шутка ли, командир партизанского отряда и недавний кавалерийский комвзвода в Пятой армии! Все уже знали, что у Мамонта Петровича золотая шашка Реввоенсовета и парабеллум от главкома Пятой армии. Мамонт Петрович сожалел, что орден Красного Знамени привинчен у него на френч – на шинель бы его, чтоб все видели.

Ходит Мамонт Петрович вокруг костра, позвякивает серебряными шпорами. Так и надо держаться командиру мировой пролетарской революции! Чтoб видела мировая контра, каковы теперь командиры Красной армии. Не слыхивали про такую армию? Ну так вот, понюхайте, чем пахнет ее увесистый кулак! А если и того мало – получите такой пинок под зад, что лететь будете кубарем через моря и океаны. Так-то!

Около часа похаживал Мамонт Петрович, покуда трибунал не вынес свой приговор особо опасным государственным преступникам – расстрел.

– Мамонт Петрович! Ну и ну! Здорово! – подбежал к нему Гончаров, его бывший партизан, маленький, верткий, в длиннополой шинели внакидку, в папаче. – Обстановка сложилась... Знаешь? Ну вот. Откуда ты? Мы считали тебя погибшим, согласно сообщению из Пятой армии. Надолго к нам? Да что ты! Ну нет, Мамонт Петрович. Рано тебе демобилизовываться. Здесь мы тебя мобилизуем – будешь командовать частями особого назначения. Надо же покончить с бандами.

Мамонт Петрович обиделся, что его не допустили на заседание трибунала, и потому, разговаривая с Гончаровым, поглядывал на него с некоторым пренебрежением с высоты своего двухметрового роста. Ишь ты, как полез в гору его бывший партизан!

– Засекретились, чиновники! Где же могли допустить меня на заседание трибунала – субординация не та!

– Да что ты, Мамонт Петрович! Я только что узнал. И даже не поверил. Не может быть, думаю. Такая неожиданность.

– Само собой. Неприятная.

– Да брось ты! С чего взял, что неприятная?

– Хотел бы я посмотреть на главаря Ложечникова.

– Увидишь. А Катерину помнишь?

– Ложечникову? Откуда я ее мог знать. Я и самого Ложечникова в глаза не видел.

– Почему Ложечникову! Она Можарова. Ефима Можарова жена. Из Иланска учительница. В Степном Баджее, помнишь?

– Та Катерина? Как же! – Мамонт Петрович великолепно помнит красавицу Катерину Можарову. Она еще выхаживала его, когда он валялся в тифе. Так разве она...

– Она самая! Если бы мы тогда знали. Бой в Вершино-Рыбной, под Талой; когда растрепали манцев еще до нашего прихода к ним, бой под Григорьевкой, когда мы шли в Урянхайский край, – помнишь, как наш полк тогда разделили белогвардейцы? Все это на совести Катерины. Она была заслана контрразведкой к партизанам еще осенью восемнадцатого года.

– Едрит твою в кандибобер!

– В двадцатом, когда в Красноярске захватили документы контрразведки, все разом открылось. Сам Можаров был тогда в Красноярске. Кто ее предупредил, неизвестно, но она успела сбежать. В банде Мансурова была начальницей штаба и у Ложечникова была начальницей штаба. Такие вот невеселые дела. Трибунал приговорил ее к расстрелу.

Закурили.

– Хорошо повоевал?

– Нормально.

– Холостуешь?

Нет, Мамонт Петрович не холостует. Он женат, и жена его находилась здесь – Евдокия Елизаровна Головня.

Маленький Гончаров принял это за грустную шутку:

– Понимаю! Присвоила твою фамилию, а мы здесь уши распустили. В ОГПУ было достаточно документов, чтобы ее взять и определить куда следует, да я прошляпил. Завтра я ее арестую в Каратузе. Вот сейчас здесь Ухоздвигов. Это же...

– Па-азволь! – отрубил Мамонт Петрович. – Мою жену арестуешь? Пока я жив, и орден Красного Знамени горит у меня на груди, и золотое оружие Реввоенсовета республики вот здесь, а парабеллум главкома Пятой армии вот здесь находится – никто пальцем не тронет мою жену, Евдокию Головню. Ясно?

Маленький Гончаров чуть было в землю не врос под таким энергичным натиском Мамонта Петровича. Такой же, каким был в партизанах! Но то, что у Головни орден Красного Знамени и наградное оружие, этого Гончаров не знал.

– Не горячись, пожалуйста. Вопрос очень серьезный. Есть в ОГПУ достаточно документов относительно Евдокии Юсковой. На заседании трибунала бандиты показали...

– Юскову не знаю! Есть Евдокия Головня. Мало ли какие показания ни дадут бандиты перед тем, как их в распыл пустят. А мне доподлинно известно, как в сентябре прошлого года в доме вдовы Клавдии Ржановой в Старой Копи произошла драка между Ложечниковым и Ухоздвиговым, а так и Катерины с Евдокией Елизаровной.

Мамонт Петрович рассказал все, что узнал от вдовы.

У Гончарова не было таких данных. Ну а про то, что Евдокия Елизаровна подвела банду под чоновские пулеметы, – ерунда! Банду выдал некий Максим Пантюхович из бывших партизан-анархистов, а Евдокия Елизаровна, наоборот, пыталась спасти бандитов. Ее связь с Ухоздвиговым доказана. Она здесь не случайно осталась, а из-за приисков. Имеется донесение Филимона Боровикова...

– Хэ! – отмахнулся Мамонт Петрович. – Филимон Боровиков на кого угодно донесет, только бы свою шкуру спасти. Где он сейчас? Ямщину гоняет в Красноярске? Хэ! Это же такой космач! Сам Тимофей Прокопьевич брал его за жабры еще когда! А ты вот что скажи, – Мамонт Петрович надвинулся на маленького Гончарова, взял его за воротник шинели, подтянул к себе, – ты вот что скажи, служивый из ОГПУ: кто нас спас от полного уничтожения здесь, в Белой Елани, в ту Масленицу? С чем мы вышли, числом в тринадцать лбов из тайги, чтоб освободить заложников? Какое вооружение имели в наличности? Какое количество патронов

к винтовкам и берданкам? Без пороха и пистонов к дробовикам! Помнишь или нет, начальник? А кто нас выручил в ту ночь? Святой Дух или архангел Гавриил на золотых крылышках? Не ты ли первым говорил, не одолеть нам казаков, а мы, двенадцать, заставили тебя идти вместе с нами. Помнишь или вылетело из башки? Кто нас выручил в ту ночь? Кто? Кого я на руках вынес из амбара Боровиковых?

– Не будем шуметь, Мамонт Петрович, – оглядываясь, сказал Гончаров. – Нас слушают красноармейцы.

– Слушают? А кто же должен нас слушать?

– Да пойми же...

– Преотлично все понимаю, Гончаров, и переводчика с японского языка на русский не потребую, – рубил Мамонт Петрович. – И прямо заявляю: если посмеете арестовать мою жену – я махну к Ленину в Совнарком. Сей же момент! Я еще сумею постоять за себя и за свою фамилию Головни. Это тебе раз. На моих глазах прошла жизнь Евдокии Елизаровны, и я превосходно помню, как изничтожил ее сам Юсков, какое изгальство она претерпела. А время какое было? Мотались не такие головы из стороны в сторону! Покрепше! Это так или нет? А ты с нее одной хочешь спросить за весь буржуазный класс и за все шатания-мотания, какие она пережила за Гражданскую? Ломали ее так и эдак, или мало того – теперь мы будем доламывать? Это будет два. Она моя жена – это будет три. Ясно?

– Ясно. Пусть будет твоя жена, – сдался Гончаров, и Мамонт Петрович отпустил его душу на покаяние. – Придется мне сейчас говорить с членами трибунала. Вынесено определение...

– Я сам буду говорить!

– Нет уж, позволь, Мамонт Петрович. Ты не член ревтрибунала. Тут я буду говорить. Не беспокойся, не подведу. Жена так жена. Только я не хотел бы, чтоб ты, мой командир по партизанскому отряду, оказался в таком же положении, в каком сейчас Ефим Можаров. Это тоже наш партизан и большевик с девятьсот десятого года. Машинист паровоза. Отец его казнен в Иланске в девятьсот пятом – биография!.. А жену – жену приговорили к расстрелу. И он был на заседании ревтрибунала. Легко или нет? И он тоже доверял ей за все время партизанства у Кравченко. А сколько мы потеряли товарищей, когда белые громили нас? Белым все было известно! Каждый наш патрон, каждое движение! А сколько она со своими бандитами порешила людей за три последних года?! А ведь учительница! Под большевичку играла! Так или нет?

Мамонт Петрович и тут нашелся:

– А у тебя есть такие данные, чтоб эта самая учительница взорвала бомбами карателей в собственном доме, где находилась ее мать и сестра? Есть такие данные?

Нет, таких данных не было и быть не могло.

Гончаров ушел в школу говорить с членами ревтрибунала.

Мамонт Петрович бряцал шпорами.

VIII

А снег все сыплет и сыплет. Всю ночь сыплет снег. Прорва мокрого снега. И ветерок к тому же. Ветерок. Ветерок.

Непогодь.

Свету белого не видно.

Грядет ли утро? И будет ли день?...

Непогодь.

В обширной ограде кони, кони под седлами, присыпаемые снегом.

Мамонт Петрович думает.

Чоновцы в шинелях, в полушубках, шубах, с карабинами и винтовками вокруг костра, и над всеми витает напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного; все знают, что пятеро главарей банды будут расстреляны.

Мамонт Петрович все так же похаживает вокруг костра, постукивая сапогом о сапог – прихватывает пальцы ног, и кажется ему, что он не в ограде бывшего ревкома, а в Степном Баджее на Мане, среди партизан, и там он встретился с Ефимом Можаровым и с его красавицей-женою, Катериной Гордеевной. Он помнит ее лицо – улыбающееся, круглое, доброе, и такие выразительные синие глаза. Синие? А не карие? Кажется, карие. Точно. Катерина утешает его: «Вы такой могучий, Мамонт Петрович. Обязательно выздоровеете. Мамонты от тифа не умирают». И улыбается, улыбается оскалом белых и крупных зубов.

Из школы вышли четверо – прокурор уезда в дохе и длинноухой шапке, председатель ревтрибунала в шубе и в папахе, Гончаров в шинели и в папахе и Ефим Можаров – начальник милиции из Каратуза.

Гончаров представил Мамонта Петровича – боевой командир партизанского отряда, недавний комвзвода Пятой армии, краснознаменец и все прочее, и Головня пожал руку всем троим; Ефим Можаров почему-то сразу отошел в сторону – ему нелегко, понятно, к расстрелу приговорили женщину, которая жестоко обманула его. Как и что пережил он на заседании ревтрибунала – никому не известно; он стоял в стороне от всех и беспрестанно курил прямую трубку. В кожанке под ремнем с кобурой, в кожаных штанах и в сапогах, в белой смушковой папахе, точно такой, как у Мамонта Петровича.

Мамонт Петрович взглядывал на Ефима Можарова. Он его великолепно понимал, но ничем утешить не мог – такое время. Борьба все еще идет по городам и весям своей железной метлой, и тут ничего не попишешь! Надо вытянуть и этот тяжкий воз, чтобы наконец-то установить порядок и начать новую жизнь.

Можаров сам подошел к Мамонту Петровичу, когда трибунальцы вернулись в школу.

– Так, значит, вернулся? Не ожидал, что мы еще раз встретимся и в таком вот положении. Знаешь?

– Угу, – кивнул Мамонт Петрович, закуривая. Поглядел на осунувшееся лицо Можарова, посочувствовал: – А ты держи голову тверже. Если она столько лет гнула свою контрреволюционную линию, какой может быть разговор! А может, что не так? Есть ли определенные доказательства?

– Хватает, чтобы сто раз расстрелять, – глухо ответил Можаров, кося глаза в сторону. – Хватает!

– Гончаров сказал, что ты сам ее разоблачил?

– Почему «сам»? – Можаров выбил трубку и снова набил табаком. Долго прикуривал. – «Сам»! Хэ! Документы колчаковской контрразведки ЧК разбирала полгода. В июле так, когда я был в Красноярске, вызвали меня в ЧК. Она фигурировала под именем Лидии Смородиной. Ну, ее собственноручные сообщения, донесения, шифровки, и вдруг нашли приказ о представ-

лении к награде Лидии Смородиной – Екатерины Григорьевны Шошиной – ее девичья фамилия. Она ведь родом из Каратуза, казачка! Я в тот же день махнул в Иланск – нету. Успела скрыться. Куда? Неизвестно. И сына бросила. Потом из Минусинска поступило сообщение о банде Мансурова – в двадцатом осенью, в октябре кажется.

Помолчал, раскуривая трубку.

– Ну вот. И я прилетел в Минусинск и с той поры здесь работаю. Теперь в Каратузе начальником милиции. Два года мотался с чоновцами по уезду, но так мне и не удалось схватить ее. Я бы ее сам! Собственноручно! Ну, да о чем говорить! Ну а ты как? Демобилизовался? Останешься здесь или махнешь к себе в Россию? Ты из России, кажется? Из Тулы? В Тулу уедешь?

Нет, Мамонт Петрович не собирается в Тулу.

– Ты сказал – Григорьевна? Она же Гордеевна?

– Гордеевна. А в приказе генерала Шильникова – Григорьевна. Какой-то писарь переврал. Какое им дело, как ее величать? Попалась птичка – стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете. Как в песне.

– Она призналась?

– Хо! Призналась? Не те слова. Послушал бы, какую она речь закатила в трибунале. Ого! Патриоткой себя величает. Ах, да о чем толковать!

Махнул трубкой – искры посыпались.

– Сын у меня растет. В Иланске сейчас у моей матери, – вдруг вспомнил Ефим Можаров. – Я ведь с ней жил с зимы четырнадцатого. Машинистов такого класса, как я, на фронт не брали. Водил пассажирские. Она у нас начала учительствовать. Ну вот. Сын растет. Хорошо, что он в Иланске сейчас. В банде у нее еще родился ребенок. Девчонка будто. Ну да, девчонка. А у кого оставила – не сказала.

Можаров оглянулся на школу, перемял плечами.

– Что они тянут, трибунальцы? – как будто сам себя поторапливал. – Казаки могут налесть с часу на час. Когда мы их только призовем к порядку? И нэп как будто самое подходящее для них, а все еще взбуривают и пенятся, сволочи чубатые!

Из школы вывели приговоренных – четверо мужчин, связанных попарно одной длинной веревкой, и пятую Катерину – ее не связали.

Можаров сразу же отошел от Мамонта Петровича.

Подошел Гончаров – дымит сигаркой самосада.

– Самая неприятная обязанность – вот эти дела, – сказал как бы между прочим.

Мамонт Петрович спросил, который атаман Ложечников. Гончаров указал на левого в первой паре. Правый – полковник Мансуров.

– Понятно! – кивнул Мамонт Петрович и пошел взглянуть на карателя. Так вот он каков, недобитый фрукт белогвардейский! Здоровый мужик в шубе и в шапке, морда круглая, упитанная – не успела исхудать, глаза смиренные, открытые, в некотором роде добряк, если судить по круглой физиономии с курносим носом.

– Ложечников?

Ложечников чуть дрогнул, приглядываясь к высоченному военному, которого он принял за какого-то нового, только что подъехавшего комиссара.

– С кем имею честь?

– Мамонт Головня.

– Ма-амонт Го-оловня?!

Все пятеро – четверо мужчин и Катерина – уставились на Мамонта Петровича.

Катерина не опустила голову – ответила прямо и твердо на взыскивающий взгляд Головни. Она, конечно, узнала его, бравого партизана. И он ее узнал сразу. Из-под теплого платка выбилась прядка прямых волос на ее бледную щеку. Резко выделяются черные, круто

выгнутые брови, пухлый маленький рот, утяжеленный подбородок с ямочкой, круглолицая, одна из тех, про которых говорят – русская красавица. У партизан в Степном Баджее она была писаршей в штабе, и не раз сам Кравченко, главнокомандующий крестьянской армией, посылал ее в опаснейшие рейды в тыл белых за медикаментами и перевязочными материалами, и она всегда возвращалась благополучно. Говорили, что она находчивая, смелая, отважная, а было все не так – белые сами помогали доставать ей медикаменты, а взамен получали от нее все данные о партизанской армии. Они все знали, подготавливая июньский сокрушительный удар, – только чудом спаслась партизанская армия, бежав с берегов Маны вглубь непроходимой тайги, через лесной пожар за две сотни верст в Минусинский уезд, где партизан никто не ждал.

Мамонт Петрович хотел спросить Катерину, почему она, столь важная разведчица белых, не осталась на Мане, когда партизаны беспорядочно и суматошно бежали в тайгу?

Но он спросил совсем не о том:

– Так, значит, Катерина Гордеевна? М-да. Не думал не гадал о такой встрече. Один вопрос у меня к вам, последний. Евдокию Елизаровну помните?... Из-за чего вы дрались с ней в доме вдовы Ржановой, что в Старой Копи?

Мамонт Петрович говорил спокойно, как будто размышлял вслух над трудным вопросом, и это его спокойствие передалось Катерине, смягчив ее окаменевшее сердце. Она не ждала, что с нею кто-то из этих красных может так вот по-людски заговорить, как будто трибунал не приговорил ее к расстрелу.

– В Старой Копи? – переспросила она дрогнувшим голосом. – Помню, помню. Осенью прошлого года это было. Глупо все вышло. Ужасно глупо. Все были издерганы после боя за Григорьевкой. Если увидите Евдокию Елизаровну – пусть она простит меня. Теперь я знаю, кто подвел нас под пулеметы чоновцев. Он еще свое получит. А Евдокия Елизаровна... Дуня... Она сейчас в больнице в Каратузе. Кто ее подстрелил в Рождество – не знаю. Никто из наших не стрелял в нее. Никто. Это я хорошо знаю. Пусть не грешит на нас. А впрочем!.. Ее участь такая же, как и моя. «Мы жертвами пали в борьбе роковой!»...

– Это не про вас! – оборвал Мамонт Петрович.

– Как знать! Про всех, наверное. Ах, да какая разница!.. Я хочу сказать... Дуня ни в чем не повинна, хотя и была с нами. И с нами, и не с нами.

– В каком смысле?

– В прямом. Она ни с кем. Ее просто смяли и растоптали. А притоптанных не поднимают.

– Она моя жена! – вдруг сказал Мамонт Петрович.

Катерина посмотрела на него непонимающим взглядом:

– Жена? Дуня? Ваша жена? Да вы шутите! Ничья она не жена. После того, что с нею случилось, – она ничья не жена. Ничья. Она не живая. Изувечена.

– Воскреснет еще, – сказал Мамонт Петрович, не вполне уверенный, что Дуня может воскреснуть из мертвых, но отступить ему не дано было – в самое сердце влипла.

– Дай бог! – натянуто усмехнулась Катерина, удивленно разглядывая Мамонта Головню. Чудак, и только. Ах, если бы побольше было чудаков на белом свете! Но она об этом не сказала Мамонту Петровичу. – Боже мой, как все запутано! Как все запутано! А вы... забыла, как вас величать... не судите меня строго. Я к вам, если помните, не питала зла. Нет! Если помните, конечно. И если разрешено вам помнить, – жалостливо покривила пухлые губы. – Я исполнила свой долг перед Россией, которую... так жестоко, так жестоко растоптали. Будет время, «подыметесь мститель суровый, и будет он нас посильней!..».

– Это песня тоже не про вас, – перебил Мамонт Петрович.

Катерина покачала головой:

– Еще никто ничего не знает! Никто – ничего! Да, да! Не надо быть такими самоуверенными. Ах да. У меня так мало осталось времени! Так мало!.. Я хочу... извините... попросить вас... поговорите, пожалуйста, пожалуйста! С Ефимом Семеновичем. С Можаровым. В три-

бунале я не могла... последняя моя просьба... разбередили вы мне сердце, что ли!.. О чем я? Ах да! Про сына. Пусть он ничего не говорит обо мне сыну – не надо! Неумно отравлять жизнь сыну. Вы меня понимаете? Это наша борьба. Наша кровь за кровь. А у сына... я еще ничего не знаю! Кем он будет, рожденный в мае пятнадцатого года? Кем? Я ничего не вижу. Тьма! Тьма! Если бы мы знали наше будущее!.. О господи!.. Как мне стало тяжело!.. Размягчили вы меня, что ли? Скажите, чтоб он не отравлял сердце сыну. И еще про дочь. У меня остается дочь. Полтора года девочке. Скажите ему... если он... Нет, нет. Это невозможно! Хочу сказать...

Катерина не успела договорить – подошел Гончаров. Шепнул Мамонту Петровичу, что он задерживает.

– Кого задерживаю? – не понял Мамонт Петрович и взглянул на Гончарова, а потом на конвой с винтовками наперевес – понял все и отошел в сторону.

Раздалась команда караула:

– Трогайтесь!..

Первая пара, за нею вторая тронулись с места, а потом и Катерина. Она так и шла с недосказанными словами на припухлых губах, в черном мужском полушубке, глядя вперед себя, в неведомое, мятежное, с ветром и мокрым снегом.

Трое чоновцев с винтовками наперевес шли впереди, по трое с боков и двое с карабинами сзади. Следом за ним – председатель ревтрибунала, прокурор. Гончаров бок о бок с Мамонтом Петровичем, и чуть в сторону, ссутулившись, втянув голову в плечи, Ефим Можаров в кожанке под ремнем. Руки он засунул в карманы.

А снег все сыпал и сыпал, как бы нарочно заметал следы.

IX

Меланья не хотела пустить Дуню в дом, но кум Ткачук поговорил с нею, пригрозил грозным Головней, и хозяйке пришлось принять «ведьму-квартирантку», самовар поставить и на стол собрать.

Филимона дома не было – на всю зиму уехал гонять ямщину куда-то в Красноярск.

Кум Ткачук посидел часок с Дуней, выпил с нею по чашке чая и ушел, так и не дождавшись Головни: «Почивайте, Евдокея Елизаровна, и хай вам добрые сны привидятся».

Но куда уж там до добрых снов!

Подмывало под сердце – трибунал заседает! Утопят ее бандиты, особенно Катерина. Она ее щадить не будет. Все выложит: и про связь Дуни с Гавриилом Ухоздвиговым, и про то, что Дуня всем нутром была с бандой, и пусть, мол, ей будет то же самое, что и нам, – смерть!..

Страшно и постыло.

Ждала Мамонта Петровича – больше некого было ждать в столь тяжкий час жизни. Она примет его и, если надо, всплакнет о своей горькой доле, только бы он защитил ее от новой напасти. Не любовь, а страх и безысходность пеленали ее с Мамонтом Головней; не любовь, а страх прищемил сердце. Сколько раз взглядывала на часики – тики-так, тики-так, придет – не придет...

Деревянная кровать, пара табуреток, две лавки, иконы в переднем углу с луковицей свисающей лампы, кросна с недотканными половиками, самопряха в углу с льняной бородой на прялке, большущий кованый сундук и мешок с вещами Мамонта Петровича.

В мешок не посмела заглянуть.

А что, если Мамонт Петрович не придет? Наверное, он там узнал всю подноготную про нее и скажет потом: «Ответ будешь держать перед мировой революцией, едрит твою в канди-бобер!»

Холодно.

Когда под шестком в избе в третий раз загорланил петух, Дуня надумала сама пойти в штаб чоновцев и в трибунал – пусть берут ее, только бы не мучиться в неведении.

Посмотрела время на ручных швейцарских часах – половина четвертого жуткой ночи!.. Горько усмехнулась сама над собою: «Вот уж счастливица, Боженька! Нашелся муж, назвал женою и, не переспав ночи, – убежал. Сдохнуть можно от такого счастья!»

Вышла на улицу в дохе, – если посадят, тепло будет. Не замерзать же в кутузке!

В калитке задержалась. Куда идти? Если уж сами придут, тогда другое дело. Что это? Кого-то ведут серединой улицы. Ближе. Ближе. Впереди красноармейцы чона в шинелях и в шлемах, с винтовками наперевес. Издали узнала Мамонта Петровича – спряталась за калитку, оставив ее чуть открытой. В оцеплении караула четверо со связанными руками, боженька! И Катерина с ними! Дуне страшно. Жутко. Доха не греет – до того трясет от мороза. Узнала маленького Гончарова, Можарова из Каратуза – начальник!.. Следом за всеми ехали на двух саних двое красноармейцев. К чему сани-то? Или их увезут куда-нибудь подальше? «Вот и отстрелялись на веки вечные! – подумала она. – Как теперь Катерина? Говорила, что она слезу не уронит перед красными. Сколько она партейцев самолично прикончила, и сама попалась».

Когда все скрылись под горою в пойму Малтата, Дуня прошла заплотом к высокой зава-линке дома, поднялась, ухватившись за наличник, глядела вниз, в пойму, но ничего не увидела – снег, снег, метелица!..

Белым-бело, как в саване.

Вся жизнь представилась Дуне тесной, узкой, как тюремный коридор. Одни – лицом к стене, других ведут мимо, мимо. Она побывала с Гавриилом Ухоздвиговым в красноярской тюрьме – смотрели красных. Думалось тогда – прикончили большевиков. Навсегда! Само

«красное» стало пугалом не для одной Дуни. А вот они – красные! Живут и вершат свой суд революции. Какая же сила подняла их – обезоруженных, полуграмотных, притоптанных и оплеванных важными господами?...

Понять не могла. Свершилось так, и все тут. Знать, такая судьба матушки России!..

Х

Пути-дороги скрещиваются.

На скрещенных дорогах развязываются узлы, и сама вечность как бы останавливается перед днем грядущим.

Пятеро главарей банды прошли последний путь и стояли теперь не遠деке от берега Амыла лицом к лицу со своими судьями и с теми, кому выпал жребий привести приговор в исполнение.

Четыре бандита, связанные одной веревкою, в сущности, не сегодня оказались связанными вместе, а давно еще, в пору Самарской директории и жесточайшей колчаковщины, когда каждый из них вершил казни над красными по своему опыту и разумению, не щадя ни женщин, ни стариков, ни малых детишек. Каждый из них мог бы соорудить себе пирамиду из трупов казненных. Они сами в себе вытоптали и огнем выжгли все человеческое и, конечно, знали, что их никто не помянет добром, а только проклятием и полным забвением; для них не было дня сущего и дня грядущего. И это они понимали, и потому им было страшно. До ужаса страшно.

Катерина в черном полушубке, неестественно выпрямившись и глядя вверх на отягощенное тучами небо, как будто шептала молитву.

Снег был глубокий и рыхлый, и главари банды увязли по колено в снегу.

Перед ними немо строжили семеро чоновцев с винтовками наперевес.

В лесу на прогалине было необыкновенно тихо.

Темнели высоченные ели по берегу Амыла. Фыркали кони, впряженные в сани.

Один из красноармейцев светил фонарем «летучая мышь», и председатель трибунала читал приговор осужденным.

Каратель Коростылев втянул голову в плечи.

Хорунжий Ложечников не выдержал и крикнул: «Кончайте!» И выматерился.

Председатель трибунала продолжал читать.

Мамонт Петрович внимательно слушал, глядя на Катерину. Он и сам не мог бы себе объяснить, почему ему, бывалому партизану и комвзвода Красной армии, было жаль вот эту женщину, столь отчужденную и далекую от него во всех отношениях.

Председатель трибунала спросил, какое будет последнее слово приговоренных.

– Не ломайте комедию, обормоты! – крикнул Ложечников. – Кончайте!

Катерина коротко взглянула на всех и почему-то опустила шаль с головы на плечи.

Ничего не сказала.

Полковник Мансуров, заикаясь от страха, напомнил, что он лично не казнил совдеповцев. Он-де не был министром в кабинете кровавого Колчака. «Произошла жестокая ошибка. Пощадите мою дочь, Евгению! Она ни в чем не виновна. Пощадите ее! Она ни в чем не виновна!»

– Заткнись, полковник! – крикнул Ложечников, но полковник все еще умолял, чтобы пощадили его дочь Евгению.

Ложечников матерился.

– Заткните пасть этому волку! – не выдержал полковник. – Я прошу вас... прошу... о боже!.. помилуйте мою дочь!.. Пусть я достоин смерти с этими вот... бандитами. Но моя дочь, боже!..

Председатель трибунала ответил:

– Вашу дочь никто не собирается расстреливать.

– Дайте мне слово! – выкрикнул сотник Шошин. – Нас приговорили к смертной казни, а генералов почему не судили? Али помилуете? А еще большевиками прозываетесь!

– Будет суд над генералами, не беспокойтесь, – ответил Шошину председатель трибунала.

Мамонт Петрович спросил у Гончарова, про каких генералов говорит бандит?

Оказывается, в Таятах в женском староверческом скиту арестованы были два колчаковских генерала – Иннокентий Иннокентьевич Ухоздвигов и Сергей Сергеевич Толстов, князь, – которых надо доставить в Красноярск.

– Где эти генералы?

– Здесь. В нашем штабе.

– А сколько всего бандитов?

– Восемьдесят шесть со скитскими. Игуменью взяли с монашками, а эти монашки – две жены бандитов: Ложечникова и генерала Ухоздвигова, а две – дочери. Одна – Мансурова, другая – генерала Толстова. В скиту у игуменьи был главный штаб банды.

К Гончарову подошел председатель трибунала. Переглянулись. Гончаров молча кивнул. Настал последний момент...

– Го-о-отовьсь!

Ложечников выматерился.

Полковник Мансуров громко сказал:

– Господи, помилуй меня! Спаси мою душу грешную! Евгению спаси, Господи!

Гончаров скомандовал:

– По врагам мировой пролетарской революции и рабоче-крестьянской советской власти – пли!

Раздался залп из семи винтовок.

Четверо упали тесно друг к другу.

С деревьев посыпался снег.

Катерина продолжала стоять, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч, ладонями от себя.

Густо пахло жженой селитрой.

Гончаров повернулся к красноармейцам, вскинул револьвер, скомандовал:

– По белогвардейской шпионке и начальнице штаба банды – пли!

И еще один залп.

Мамонт Петрович видел, как Катерина с маху оттолкнула от себя огненную жар-птицу, но жар-птица раскинула ее руки в стороны, клюнула в грудь, в самое сердце. Катерина так и упала навзничь с широко раскинутыми руками. И вдруг, совершенно неожиданно, как будто кто щелкнул бичом, – еще один выстрел...

Никто не ждал этого выстрела.

Мамонт Петрович быстро оглянулся:

– Едрит твою в кандибобер, Можаров!..

Шагах в десяти от всех Ефим Можаров, как-то странно прижав руки к груди, согнувшись, сделал шаг, еще шаг и упал лицом в мягкий снег.

Один – лицом в землю. Другая – лицом в небо...

Все подбежали к Можарову. Он лежал скрючившись, зарывшись головой в снег. Папаху слетела. Мамонт Петрович повернул Можарова на спину. В руке зажат наган. В зубах – трубка. Потухшая трубка. Кожанка расстегнута. Никто не видел, когда он снял ремень и расстегнул кожанку. Выстрелил себе в грудь, точно, без промаха. Наповал. Снег быстро потемнел от крови. Под тусклым светом фонаря лицо Можарова казалось чугунным, как будто обуглилось.

Первым опомнился молчаливый прокурор:

– Как мы могли прошляпить, товарищи? Нельзя было допускать его на заседание трибунала.

– Он держался нормально, – сказал Гончаров.

– Головы, туды вашу так! – выругался Мамонт Петрович. – Бывшую жену вывели на расстрел, и – «нормально»! У него, может, нутро перевернулось за эту ночь. Он говорил мне про сына, который сейчас у него в Иланске у матери, а у самого в лице туман и отчаянность.

– Может, нам не все известно? – Гончаров переглянулся с председателем ревтрибунала. – Я говорил: как могло произойти, что он с четырнадцатого года по февраль двадцатого проживал с нею, так сказать, одну постель мяли, а потом вылезло наружу из захваченных документов контрразведки: жена – белогвардейская шпионка! Тут что-то...

– Голова! – оборвал Мамонт Петрович. – А ты подумал про такую ситуацию: если бы шпионка не сумела обмануть одного человека, который доверял ей и ни в чем не подозревал, тогда как бы она могла обмануть всех нас? Я преотлично помню, как она ухаживала за мной, когда я лежал в тифу. Подбадривала, проклинала всех белых и все такое, а сама – белая! Знал я про то или нет? Мог ли подумать? Хэ! А вот почему она ничего не сказала в последнем слове после приговора – загадка. Глянула на всех, как с отдаленной планеты, и молчок. Я так думаю: перед смертью она, может, первый раз посмотрела на себя и на бандитов не криво, а прямо. А что увидела? Ни сына у ней, ни дочери, ни земли, ни неба! Докатилась до последней черты. Я это так понимаю. И сам Можаров от стыда и позора, что он когда-то доверял такой бандитке и сына заимел от нее, пустил себе пулю в грудь. Душа не выдержала. Или вы думаете, что у коммунистов чугунные души?

Все примолкли, а Мамонт Петрович дополнил:

– В душу к нему не заглянули, вот что я вам скажу, трибунальцы!

Про душу-то и в самом деле запомнили.

А возле берега, сажени за три, лежала Катерина. Ноги ее увязли в снегу и согнулись в коленях. Будто она куда-то шла, притомилась, села на снег, а потом легла на спину, уставившись в небо. Чоновец с фонарем подошел к ней. Пятно света упало на ее бледное лицо, обрамленное рассыпавшимися темными волосами. На ее распахнутые ужасом глаза падали снежинки и тут же таяли, стекая от уголков век крупными слезинками по вискам, словно она и мертвая плакала. Все ее лицо покрылось капельками, будто вспотело. Белела полоска зубов. Чоновец в буденовке наклонился к ней и пальцами прижал веки, закрывая глаза. Веки были холодные, но когда пальцы скользнули по щеке, он испуганно отдернул руку – щека была еще теплая. Пятно света переместилось на полушубок, застегнутый на пуговицы. Крови не было. Ни капельки. Подошел еще один красноармеец, и первый, с фонарем, сказал, что надо ее повернуть. И тот повернул. На снегу под спиною натекла кровь, и в полушубке вырваны были клочья овчины...

– Отлетала в бандитах, шпионка! – сказал тот, что поворачивал. И когда он опустил плечо, тело снова легло на спину. Надо было вытащить ноги из снега, но красноармеец не сделал этого. Первый с фонарем отошел в сторону, вытер тылом варежки пот со лба, поставил фонарь на снег и, расстегнув пуговицы шлема, стащил его с головы и шлемом вытер потную шею и голову. Он был еще молодой боец части особого назначения войск ОГПУ и впервые за свою жизнь участвовал в расстреле врагов советской власти. Красноармейцы перетаскивали тела бандитов в сани, чтобы захоронить их где-нибудь подальше от деревни на неведомом месте. Трое подошли к телу Катерины. Она все так же лежала лицом в небо...

По черным елям пронеслась верховка, и деревья тихо зашумели, а потом послышался скрип чернолесья, усилился шум, а из деревни донесся собачий брех. Местами небо прояснилось, и робко выглянули звезды.

Мамонт Петрович не стал ждать трибунальцев – они все еще обсуждали самоубийство Ефима Можарова, пошел размашистыми шагами в обратный путь. Горечь недавно пережитого была до того вязкая, что впору ложиться в снег, чтоб отвратность ушла из души. Свершилась какая-то роковая ошибка, но в чем эта ошибка?...

Жалел Ефима Можарова и не мог себе простить, что в тяжкий момент не стоял плечом к плечу с ним. Надо было его поддержать, а он, Мамонт Петрович, все свое внимание обратил

на бандитку, как и все трибунальцы. А свой, в доску свой человек, оставленный без внимания и участия, пустил себе пулю в сердце. «Это же до умопомрачения дико произошло, – размышлял Мамонт Петрович. – Она его столько лет обманывала, предавала всю нашу партизанскую армию, летала по уезду в банде, а он не сумел вытоптать эту бандитку в самом себе. Какая сила вязала его с ней?...»

Понять того не мог.

XI

И крута гора, да забывчива; и лиха беда, да избывчива.

Горы надо одолевать, чтобы горя не видать.

А что, если за горами еще больше горя и зла неизбежного?...

За годы гражданки Мамонт Петрович немало отправил беляков на тот свет, но никогда ему не было так тяжело и сумно, как сейчас. Как будто залп грохнул не по бандитам, а – нутро изрешетило. В горле сушь и в голове туман.

Поднимаясь на боровиковскую горку из поймы, смотрел на черный тополь.

В голых сучьях черного тополя посвистывал ветер.

У столба ворот Боровиковых увидел Дуню в пестрой дохе. Удивился: почему она в улице? Может, Меланья не пустила в дом? Но когда подошел близко и встретился с ее глазами, догадался: она все знает.

– М-да. Не спишь? – и не узнал свой голос. Звенит, как колокольная медь. Дуня прижалась спиной к столбу, а в глазах вьет гнездо страх. Чего она испугалась? Сказать про то, что случай занес его присутствовать на казни бандитов, – не мог. Тяжесть такую не вдруг подымешь на язык.

Ничего не сказал.

Дуня прошла в ограду, и он следом за нею. Выбежала лохматая собака, взлаяла. Мамонт Петрович чуть задержался, посмотрел на собаку, и та, захлебываясь лаем, отступила и, скуля в бессильной злобе, спряталась в теплый свинарник.

В избе горела плешка и пахло жженым конопляным маслом. Густились тени. Иконы казались черными, без ликов и нимбов. На столе стоял медный самовар, собранная снедь в двух глиняных чашках – отваренная картошка, квашеная капуста, постное масло в блюде и две солдатские алюминиевые кружки – посуда для пришлых с ветра.

Дуня сбросила доху и повесила на крюк возле двери. Под дохою был еще черный полушубок, точь-в-точь такой же, как на Катерине. Мамонту Петровичу вдруг примерещилось, что перед ним в полумраке не Дуня, а Катерина.

«Что он так уставился? – дрогнула Дуня, машинально расстегивая пуговицы полушубка. – Наверное, ему что-то сказали про меня!.. А что, если в Таятах схватили...» – но даже сама себе не отважилась назвать имя человека, которого окрестила «последним огарышком судьбы», – Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Полушубок кинула на лавку.

Мамонт Петрович, как столб, возвышался посредине избы. И та же отчужденность в усталом лице. Что он знает? Почему так страшно молчит?

– Подогреть самовар? – тихо спросила Дуня.

– Не надо.

Мамонт Петрович оглянулся по избе, подошел к кадке. Ковшика не было, и Дуня подала ему кружку. Зачерпнул из кадки воды и выпил разом.

– В горнице постель, Мамонт Петрович, – так же тихо сказала Дуня и, взяв плешку со стола, прошла в горницу. Слышала, как по половицам скрипнули рантовые сапоги – офицерские! Поставила плешку на стол.

Мамонт Петрович молча снял папаху, положил на табуретку, затем шашку, хрустящие ремни с парабеллумом в кобуре, генеральскую шинель на красной подкладке, достал из кармана шинели трофейный английский портсигар, вынул японскую сигаретку и медленно прикурил от спички. Дуня до того оробела перед молчащим Мамонтом, что не знала: привечать ли его, бежать ли от него без оглядки? Взялась разбирать постель. Это была ее постель: одеяло из верблюжьей шерсти, две пуховые подушки в давно не стиранных наволочках, пуховая перина.

Докурив сигаретку, Мамонт Петрович так же молча перенес оружие на пол возле кросен, отстегнул шпоры, разулся и, сложив сапоги голенищами вместе, положил на шашку и парабеллум. Дуня догадалась, что он устраивается спать на полу. «И оружие под голову! Правду говорил Гавря: нам никогда не будет доверия от этих красных! Никогда! Им век будут мерещиться наши миллионы, которых мы сами в глаза не видели. Век будут подозревать. Что у него за бляха? Орден, может? А разве у красных есть ордена? Они же кресты и медали офицерам забивали в грудь, а в погоны, в звездочки, вколачивали гвозди. Боженька! Как мне страшно! Завтра меня возьмут или сегодня? Хоть бы скорее все развязалось! Если схватили Гаврю в Таятах...»

И сразу же вскипела ненависть к этим красным – и в бессильной ярости тут же притихла.

Мамонт Петрович лег на пол на затоптанные половики в своем френче и в казачьих диагональных брюках, укрылся шинелью. Его длинные ноги вытянулись до двери. Он все время думал, как и что сказать Дуне, но подходящих слов не было, как будто он растерял их в пойме Малтата.

Молчание стало тяжелым и давящим.

Дуня примостилась на край деревянной кровати, не смея взглянуть на Мамонта Петровича. Но он ее видел всю – от ног в черных валенках до углистых волос, небрежно собранных в узел. Понимал: казнь бандитов, с которыми она зналась, прихлопнула ее, и она сейчас в душевном смятении. Вспомнил разговор с Гончаровым. Понятно, в ГПУ достаточно материалов, чтобы взять Дуню под арест, и тогда она будет восемьдесят седьмой. Ну а потом? Упрячут в тюрьму за связь с бандой, а из тюрьмы она выйдет начиненная ненавистью ко всем красным, в том числе и к Мамонту Петровичу. Такого он допустить не мог.

Достал из кармана френча трофейные часы и посмотрел время. Шумно вздохнул, пряча часы в карман.

– Ложись, Дуня. Скоро шесть утра, – но это были не те слова, которые он должен бы сказать. – Такая вот произошла ситуация, м-да. Непредвиденная. Голова гудит, и тошнота подступает. Тяжелое это дело – казнить врагов мировой революции, а что поделаешь, если враги не сдаются без боя. А ты ложись, спи. Ни о чем таком не думай, и так далее. Если я дал слово, кремень значит. Так что не беспокойся. С бандами мы в скором времени покончим. Априори!

Суровые слова Мамонта Петровича не утешили Дуню, а еще пуще расстроили. Она и сама понимала, что силы такой нету, чтоб мог подняться ее «огарышек судьбы» и она бы обрела с ним счастье. А в чем теперь ее счастье? Если не арестуют, то все равно не будет ей жизни. Кто и что она среди этих красных «мамонтов»? Век будут попрекать юсковским корнем, и куда бы она ни сунулась, за нею будет тянуться хвост ее окаянной жизни. «А, скажут, Дунька Юскова? Знаем ее! Вертела хвостом направо и налево – с красными и белыми. Юсковская порода. Гниль да барахло».

«Боженька! Хоть бы к одному концу скорее!»

Но она ничего не сказала Мамонту Петровичу.

Ничего не сказала.

Как в свое время Дарьюшка не нашла слов к Тимофею Прокопьевичу в последний час своей жизни, так и Дуня извела такое же чувство одиночества и отчуждения в стенах боро-виковского дома.

Где-то в отдалении раздалась пулеметная очередь. Дуня сразу узнала знакомый голос максима и винтовочные выстрелы.

Та-та-та-та-та!

Мамонт Петрович поднялся одним махом.

– Вот и банда припожаловала, – сообщил спокойно, обуваясь с поспешностью военного. Не минуло трех минут, как он был в шинели, в папахе, при шашке, а парабеллум вытащил из кобуры, посмотрев обойму, заслал патрон в ствол и сунул в карман шинели. Наказал Дуне,

чтоб она никуда не выходила из дома; в случае чего, он найдет ее здесь. Не оставит на произвол банды. – Выждали момент, сволочи, чтобы захватить отряд чона врасплох. Молодцы, ребята. Это наши пулеметы работают.

С тем и убежал, бренча шпорами.

Вскоре в горницу заглянула Меланья в длинной исподней холщовой рубахе, босая, в черном платке, уставилась на Дуню:

– Осподи! Банда, што ль?

Дуня ничего не ответила.

– Головня выскочил-то?

– Головня.

Выстрелы слышались все чаще и чаще с разных концов деревни.

– Огонь-то потуши. Живо на свет явятся.

– Не кричи. Никто к тебе не явится.

– До кой поры будет экая погибель?

– Пока всех не перебьют.

– И то! Никакого житья не стало. Хучь бы Филимон скорее возвратился.

Филимон! Она ждет Филимона, тьма беспросветная!

– Не беспокойся, вернется твой Филимон. Его не сожрут ни красные, ни белые, никакие черти вместе с его Харитиньюшкой.

Меланья не ждала такого удара.

– Откель про Харитинью знашь?

– Откель! В Ошаровой видела его с Харитиньей еще в двадцатом году. Если бы я не оторвала его тот раз от Харитиньи, он бы и сейчас там «временно пребывал». Напрасно я его вытащила. Какая ему здесь жизнь? Ты только и знаешь, что лоб крестить да поклоны отбивать. Фу! Дремучесть. А Харитинья, как я ее видела, веселая баба. Бежала за кошейкой и кричала: «Воссиянный мой, возвратись! Воссиянный мой». Лопнуть можно. Это Филимон-то воссиянный?

Залпы из винтовок раздались под окнами – зазвенели стекла под ставнями. Меланья ойкнула и убежала к ребятишкам. Дуня быстро отошла от простенка к дверям горницы. Стреляют. Стреляют. В кого стреляют? Кто стреляет? Ржут кони. Долго и трудно ржут пораненные кони. Кто-то ударился в ставень – звон стекла на всю горницу. Дуня подскочила к столу и потушила плошку. Отбеливало в двух окнах, что в ограду, не закрытых ставнями. Начинался рассвет. Кто-то орал возле дома: «Робята, робята! Не бросайте! Не бросайте!»

Пулеметные очереди сыпались вдоль улицы.

Та-та-та-та-та-та-та!..

И где-то вдали цокает пулемет и хлещут из винтовок и карабинов.

Дуня накинула на себя полушубок, шаль и выбежала на крыльцо.

В ограде стрельба слышалась явственнее. Бой шел, как определила Дуня, с трех сторон: возле дома Боровиковых, на окраине приисковой забегаловки и где-то со стороны Щедринки.

На деревне лаяли собаки, мычали коровы.

Синь рассвета плескалась над крышами домов.

Ветер свистел в карнизах крыльца.

Час прошел или меньше, Дуня не знает, но возле дома Боровиковых прекратилась стрельба. Только слышно было, как трудно ржала чья-то лошадь в улице и возле ограды стояли двое или трое. Дуня отважилась выглянуть из калитки. Как раз в тот момент лихо промчались вниз в пойму конные – бандиты или чоновцы в полушубках, кто их знает. Посредине улицы распласталась раненая лошадь. Она все еще вскидывалась, чтоб подняться, падала мордой в истоптанный снег и дико ржала. Еще одна лошадь поодаль откинула копыта. Рядом с нею валялся убитый в полушубке. Одна нога его была под лошадью. И возле дома Трубиных

тоже была убитая лошадь без всадника. Кто-то стонал рядом. А, вот он! Человек полз к пойме возле завалинки. И еще откуда-то раздавался стон. Дуня присмотрелась – никого не видно. А стонет, стонет. Кто же это? От тополя, кажется. Ну, да! И этот ползет вниз, к тополю. Со стороны штаба чоновцев бежали люди с винтовками. Дуня спряталась за калитку, выглядывая в щель. В буденовках – в шлемах, заостренных кверху. Хлопнул выстрел – и стон прекратился. И еще, еще выстрелы. С той и другой стороны. Кто-то стрелял в чоновцев от тополя. Бандиты, конечно! Те, что остались без коней.

Развиднело.

Ни выстрела, ни конского топота.

Тихо...

XII

Она сама пришла – ее никто не звал.

У бывшего дома переселенческой управы, где размещался штаб чона, Дуню остановили красноармейцы в шубах – трое. Она их не знала. Спросили: к Гончарову? Фамилия? Дуня подумала: если назовется Юсковой – не пустят.

– Мамонт Петрович здесь?

– Нет, Мамонта Петровича нет в штабе.

– То к Гончарову, то к Мамонту Петровичу. Кто такая, спрашиваю? – подступил молодой красноармеец в тулупе.

– Евдокия Головня, – назвалась Дуня.

– Головня? Так бы сразу и сказала. Жена, что ли? Его сейчас нету в штабе. Увел нашу конницу вдогонку за бандой. Слышала, как налетели казаки?

– Слышала. Но мне надо повидать товарища Гончарова.

Красноармейцы переглянулись.

– Спешно, что ли? Тут казаками набили полный двор. Товарищ Гончаров разбирается с ними.

– Скажите ему, пожалуйста, что Евдокия Головня пришла к нему для очень важного разговора.

Чоновцы подумали и разрешили – иди.

Дуня прошла в ограду. Сразу у заплота, ничем не закрытые, трупы убитых чоновцев. Сколько их лежало – пятнадцать, двадцать? В крайнем правом узнала Иванчукова! Тот пулеметчик, который задержал кошеву кума Ткачука. Вот она какая, жизнь человека с ружьем!..

Тут же в ограде навалом лежали убитые казаки. В бекешах, шубах, полушубках, в шапках, папахах.

Одни лежат тесно друг к дружке, как будто отдохнуть прилегли после жаркого боя; другие навалом, как стаскивали, бросали, так и коченеют теперь.

Ни мира, ни войны между теми и другими – тишина: ни забот, ни тревог.

Отвоевались.

Одни у заплота, другие у завалинки дома, как обгорелые черные сутунки.

Тех, что у заплота, – охраняет почетный караул – по два чоновца с винтовками с двух сторон. Винтовки со штыками. Честь честью.

Этих, накатанных друг на дружку, никто не охраняет. Хотя именно они на рассвете примчались в Белую Елань, чтоб уничтожить отряд чона и освободить захваченных бандитов.

Обмозговали захватить врасплох, сонных, а нарвались на пулеметный огонь.

Такова война – малая и большая.

Одним – почетные похороны, как героям; других сваливают в яму – столько-то убитых, и все.

Это было знакомо Дуне по фронтовым денечкам. И все это ей опостылело.

С другой стороны дома, у второго крыльца, сбившись в кучку, сидели прямо на снегу под охраню захваченные живьем бандиты. Казаки, казаки... Чубатые казаки! Без шашек и карабинов. Возле них прохаживались Гончаров и прокурор уезда. Того и другого Дуня знала.

Пискливым тенорком говорил какой-то казак. Дуня прислушалась. Что-то про Ухоздвигова!

– Оно так, начальник. Сами должны были думать. Ипеть-таки скажи: как заявился к нам в станицу капитан Ухоздвигов, обсказал про тайный приказ Ленина, чтоб зничтожить поголовно всех казаков, как не подумаешь? К гибели дело подошло! С того и станица поднялась.

– Приказ! Приказ! – громко сказал Гончаров. – А вы подумали: как мог Ленин издать такой приказ, если на всю РСФСР объявлена новая экономическая политика? Нэп! Слышали? Так что же вы городите про какой-то тайный приказ! А что такое нэп? Заводись хозяйством, подымайся каждый, у кого сила имеется, а если мало силы – товарищества взаимопомощи организуются повсюду. Четыре коммуны в уезде. Это что вам, «зничтожение»?

– Капитан Ухоздвигов зачитывал приказ-то, – сказал еще один из казаков. – Печатными буквами приказ-то. Помню такие слова: «Казачество как Дона, Кубани, Урала, Сибири, а также Забайкалья, на протяжении всей мировой революции показало себя...» Запомню, как там было дальше. Злющие слова. Ну, как бы попросту. Показало, значит, как за буржуазию воевало супротив мировой революции. По такой причине, значит, учичтожить поголовно всех. И подпись: «ЛЕНИН».

– Нет у Ленина такой подписи, – сказал Гончаров. – Он подписывается: «В. Ульянов», а в скобках: «Ленин». Ульянов было или нет?

– Ульянова не было. А разве Ленин – Ульянов?

– Вот видите, – подхватил Гончаров, – как вы легко попались на провокацию капитана Ухоздвигова! Даже настоящую фамилию Ленина не знаете. Он – Ульянов! А кто такой капитан Ухоздвигов? Сынок золотопромышленника! Говорил он вам, что среди захваченных бандитов в Таятах взят его старший брат, генерал Ухоздвигов? Нет! Каких же казаков вы спешили освободить? Семнадцать бывших офицеров, а среди них – два генерала. Остальные, правда, казаки. Генералов пришлось расстрелять, когда вы обложили со всех сторон наш штаб. Так что напрасно ловчил ваш Гавриил Иннокентьевич! И врасплох нас не захватили. Ну а теперь ответ будете держать.

Гончаров сам увидел Дуню и подошел к ней.

– Ну, здравствуйте, Евдокия Елизаровна! – пожал руку Дуне. – К Мамонту Петровичу? Увел он нашу конницу. Выручил отряд! Отменный командир. А я, понимаете, когда налетела банда, схватился за голову: где Мамонт Петрович? В каком доме остановился? А он – вот он! В самый раз подоспел. Петрушин убит в Таятах, Иванчуков пал возле пулемета. Ах да! Извините! – спохватился Гончаров. – Поздравляю вас, Евдокия Елизаровна! Ну, ну! Как будто никто не знает! Мамонт Петрович торжественно заявил нам, что вы его жена. Так что...

– Нет, нет! – разом отрезала Дуня. – Я пришла... мне надо поговорить с вами.

Гончаров посмотрел на нее внимательно, чуть склонив голову к левому плечу, позвал за собою в ту самую комнату, где ночью заседал ревтрибунал.

Дуня шла как тень за маленьким Гончаровым.

Квадратная комната с кирпичной плитой. На плите солдатские котелки, кружки, продымленный чайник, дрова, чьи-то валенки на просушке, на стенах – шубы, шубы, полушубки, а в углу свалены трофеи – казачьи шашки, палаши, сабли, клинки и даже самоковки. Ремни карабинов, винтовки и ручной пулемет «люис». Табуретки возле стен, два или три стула, тот же стол, за которым когда-то восседал Мамонт Петрович с Аркадием Зыряновым, когда Дуня пришла в памятную ночь в ревком...

Знакомое и чуждое.

Гончаров пригласил сесть.

В комнатухе жарко, а Дуне холодно.

Гончаров снял шинель, повесил ее на гвоздь, туда же ватную безрукавую душегрейку, папаху, пригладил русые волосы, одернул гимнастерку под ремнем и тогда уже спросил, какая нужда привела Евдокию Елизаровну к нему?

– Тогда, в больнице, в Каратузе, – начала Дуня, взглядывая на сапоги Гончарова. – Я утаила...

Голенища сапог поблескивают, а мысли Дуни тускнеют, линяют, и она их никак не может собрать в кучу.

Гончаров не помогает ей. Прохаживается наискосок по комнате. Курит.

– Разрешите, если можно, закурить?

– Пожалуйста. Но у меня скверный самосад.

– Ах, мне все равно.

Дуня прислонила кончиком языка завернутую сигарку, склеила. Гончаров поднес огонек от патронной зажигалки. Точь-в-точь такая же зажигалка, какую подарил Дуне какой-то чистенький штабс-капитан в Самаре!

Табак был крепкий – задохлась. Аж слезы выступили. Сразу стало легче, безразличнее, покойнее. «Все равно к одному концу».

– Тогда я вам дала показание...

– Я вас не допрашивал, – перебил Гончаров. – Просто зашел поговорить с вами.

– Да! Да! – «Он зашел поговорить, начальничек! Как у них все просто», а вслух: – Ну вот. Я не все сказала. Фамилию Головня я присвоила умышленно...

Гончаров все так же прохаживался наискосок по комнате, думает, покуривает. Знать бы, что у него на уме?

– Кто вам говорил про заявление Филимона Боровикова? – спросил в упор.

– Про какое заявление? – хлопала глазами Дуня.

– Так-таки ничего не слышала про заявление Боровикова?

– Ни сном-духом.

Еще одна петля по комнате, и:

– Я вас сейчас познакомлю с заявлением. Но – должен предупредить: не разглашайте.

ХІІІ

Обо всем могла догадываться, многое предвидеть, но чтоб Филимон Прокопьевич сочинил такое заявление, Дуня никогда и никому бы не поверила.

Заявление было вот какое:

«В город Минусинск в ГПУ начальнику самолично Гончарову от Филимона Прокопьевича Боровикова из Белой Елани Сагайской волости.

ССС

Заявления:

Как я есть сознательный хрестьянин и в белых не пребывал, а так и по причине родителя мово, Прокопия Веденеевича, как сгибшего от белых карателей, и как не из миллиончиков, по какой причине заявлено делаю в ГПУ насчет Евдокеи Елизаровны Юсковой.

Про Евдокею Юскову заявляю, что она есть насквозь белая, и самолично слышал обо всем, докладая: – декабрь был 1919 года, в деревню Ошарову из Красноярска пришли множеством белые каратели, как генерал Ухоздвигов, а так и три брата Ухоздвигова, особливо самый злющий охфицер Гаврила Ухоздвигов, а с ним была полюбовница Евдокея Юскова самолично.

Меня заарестовали белые, как за родителя мово, который воевал за красных, и вели по деревне искалнить. Тута встретила меня с Гаврилой Ухоздвиговым Евдокея Юскова и обскажала, что как она землячка, так пуцай покеля живет, да под мобилизацией будет. Меня замобилизовали в подводды. Из Ошаровой повез я на своих конях охфицера Ухоздвигова с полюбовницей Дунькой Юсковой. В Даурске произошел сговор ихний. Что она ехала в Белую Елань доглядывать за приисками. Охфицер Ухоздвигов пригрозил мне смертной казнью, а Дунька Юскова ехала в моей кошевке с левольвертом, ежели засопроотивлюсь, убиенство учинить.

В Новоселовой Дунька Юскова при угрозе оружия заставила меня спать на одной кровати, чтоб я ее самолично охранял от мужика-скорняка, ну а я, как не из блуда происхожу, всю ночь не спамши был и совращенья не было. А Евдокея утром так сказала: „Ежели ты, Филимон, донесешь красным на меня, тебя на куски изрежет сам Ухоздвигов, у которого, дескать, руки длинные“. Ипеть я не убоюсь, потому как природа наша наскрозь известна.

Приехавши в Белую Елань, Евдокея Юскова поселилась у меня, а в тайне ездила на свиданку с Гаврилой Ухоздвиговым и потома была в банде для стреления Советской власти. Иишио было такое, как Евдокея подбивала меня пошуровать на пепелище Юсковых, да пепелище обшуровали сами власти и там нашли золото. С банды Евдокея возвернулась ипеть ко мне в дом, всячески грозила Ухоздвиговым, который собирал новую банду из казаков. Допреж, когда была секретаршей в Совете, Дунька срамно себя держала, как она есть шлюха и про то вся тайга знает. Как за то самое ее подстрелили и потома повезли в больницу – меня дома не было. Иишио была угроза Евдокеи Юсковой сознательному хрестьянину Маркелу Зуеву. А по какой причине Дунька угрожала, поясняю: для банды надо было собрать деньги, а так и коней казакам. А у Маркела Зуева были кони, да и так справно жил, но на банду рубля не дал. При новой власти Маркел Зуев на ноги поднялся.

Какая она есть Евдокея Юскова, я прописал в доподлинности, как не мог утаивать по причине мово дорогого родителя, сгибшего от белых казаков во время восстания в 1918 году опосля покрова дня, про што все скажут у нас в деревне.

Прошу заарестовать Евдокею Юскову и дознание произвести, чтоб она призналась, как полюбовница Ухоздвигова, а так и зловредный лемент мировой революции.

Подписуюсь – Филимон Боровиков».

/ссс

Числа под заявлением не было. Года также.

У Дуни дух занялся от «заявления сознательного крестьянина, в белых не пребывавшего»! Все, что она решила сказать, разом вылетело из головы. Осталась одна злость, злость на Филимона. Надо же! Филимон! Мякинная утроба!

– Боженька! – едва продыхнула Дуня. – Филимон все врет! Все врет!

– Врет? – спокойно спрашивает Гончаров.

И тут Дуню осенило:

– Да ведь Маркел Зуев научил Филимона написать такой донос! Маркел Зуев!

– Маркел Зуев?

– Я все скажу. Все! Это было в Масленицу в девятнадцатом. Я жила здесь, в доме Ухоздвигова. С матерью у нас была ссора. Из-за золота. Два слитка золота по пуду. Это было золото отца. Оно досталось мне. Понимаете? Мне! За все мои мытарства! Я не хотела отдать это золото ни матери, ни Клавдии – сестре ее с мужем Валявиным Иваном. Ну, вот. Два слитка золота!..

Меня изломали с девичества, выдали замуж за жулика – за пай на приiske!.. Боженька!.. за тот пай на приiske, перепроданный и проданный! Ну вот!.. Разве не мое это золото? Чье же? Мякинная утроба – Филимон Боровиков – пишет, «срамно держала себя, как она есть...». А разве я сама стала такой? Разве не меня терзали и мотали? Не меня покупали и продавали? А с чего все началось? С отца родного! И я сказала: «Это мое золото, и я его никому не отдам!» Но мать подговорила есаула Потылицына. О господи! Маменька!.. И вот тогда, в Масленицу, в доме Боровиковых исказнил меня есаул Потылицын. Причина была – я застрелила бандита Урвана, свою мучителя. Да все это для отвода глаз. Терзали из-за золота, чтоб я назвала тайник.

Боженька! Как я только не умерла после той казни! Бросили меня в беспамятстве в амбар, и тут нашел меня Головня. Помните? Вы тогда были в его отряде. Ну вот. А есаул в ту ночь взял золотые слитки из тайника в конюшне Ухоздвигова. Есаула взорвали бомбами в доме Потылицыных, и дом сгорел. А золото? Где золото?

Когда вернулась в Белую Елань, вижу – на пепелище Потылицыных поставил избушку приисковый шатун, Маркел Зуев. Он же ни одного золотника не намыл на приисках, и вдруг – коней накупил, коров, барахла всякого, а теперь еще и дом крестовый поставил для сыновей. На какие дивиденды разбогател? Ага!

Пришла я к Маркелу Зуеву и сказала ему: «Не твое золото, хотя ты и нашел слитки в пепле. Отдай мне хоть фунт из двух пудов». Как бы не так! Всеми богами клялся, что ни «сном-духом» не видывал слитки. А я ему: «С чего же ты разбогател?» Ну и все такое. Сказала, что донесу в милицию. И не успела. Если бы вы слышали, как Зуевы накинлись на меня! Я думала, разорвут. А через два дня, ночью, шла из сельсовета, и меня подстрелили. Из переулка Трубиных раздался выстрел. Сам Зуев стрелял или сыновья его, чтоб я не донесла на них.

– Почему же вы сразу не сообщили в ГПУ про этот факт? – спросил Гончаров. – В Кара-тузе в больнице вы сказали, что вас подстрелили бандиты. А теперь говорите, что стреляли Зуевы.

– Да ведь я не видела, кто стрелял в меня! Думала, может, бандиты. А про Зуева не сказала потому, что не хотела говорить про это проклятое золото.

– Ну что ж, разберемся, Евдокия Елизаровна. Спасибо за правду. Так и должна поступать жена Головни.

Дуня не смела возразить. Жена так жена! С тем и ушла из ревкома, унося опустошение и недосказанность.

...В тот же день Маркела Зуева с двумя сыновьями упрятали в кутузку. Трое суток Зуевы запирались, напропалую врали, а когда Мамонт Петрович Головня, которому Гончаров пору-

чил довести это дело до конца, заявил, что избушку Зуевых и новый дом раскатают по бревнышкам, а на пепелищах просеют всю землю, и если золота не найдут, то Маркела с сыновьями спровадят в тюрьму на веки вечные, как контру советской власти, Маркел сдался – они действительно нашли оплавленные слитки. Но ведь это их находка! Их счастье, а не какой-то Дуньки-потаскушки, которая подкатывалась к Маркелу, страшая его, чтоб он поделился находкой с нею и Ухоздвиговым...

И вот еще что потешно: из Маркела Зуева выдавили вместо двух пудов всего-навсего одиннадцать фунтиков, пять золотников и три доли! Эким прожорливым оказался бывший бедняк и незадачливый приискатель.

– Гидра капиталистическая! – только и сказал о нем Мамонт Петрович.

Дуня держала себя с мужем кротко и тихо – ни слова поперек. Встречала его ласково и сама управлялась по домашности. Поселились они в пустующем доме Зыряна, но не успели обзавестись хозяйством – Мамонта Петровича назначили командиром части особого назначения ОГПУ. И снова дорога, леса и горы, погоня за бандитами. На праздник Первое мая понаведался в Белую Елань, и вот тебе подарочек: Евдокия Елизаровна родила дочь. Этакую чернявую, волосатую, просто чудище.

Но Мамонт Петрович ничуть не перепугался.

– Красавица будет, погоди! Капля в каплю ты, – сказал жене.

Сама Дуня отворачивалась, глотая слезы.

– Назовем Анисьей. Мою покойную мать так звали. Как ты на это смотришь?

– Да хоть как назови! – махнула рукой Дуня.

В миру появилась еще одна живая душа с именем Анисьи Мамонтовны Головни...

Завязь третья

I

Год от году старел тополь...

Крутая, незнамая новина подпирала со всех сторон. То было время вопросов, недоумений, нарастающих тревог, когда на смену старым понятиям и установлениям приходило нечто новое, еще никем неизведанное, потому и непонятное.

То было время, когда советская власть, набирая силы, проникала за толстые бревенчатые стены деревенских изб, садилась в передний угол в застолье, вмешивалась в родственные узлы, перемалывая кондовые нравы и характеры, когда мужики на сходках шумели до вторых петухов, схватываясь за грудки.

То было время, когда советская власть шла своею трудной дорогой. Порою – глухолесьем, упорно прорубая просеку в будущее.

Не вдруг, не сразу мужик принимал новое. Были поиски. Иногда отчаянные, страшные!..

II

Филя не доверял власти – мало ли к чему призывает? Объявился некий нэп, и сельсоветчики из кожи лезли, чтоб Филимон Прокопьевич прикипел к земле, отказался бы от ямщины, чтоб хозяйство поднять и расширить посевную площадь. «Как бы не так! – сопел себе в бороду Филимон. – Рядом коммунию гарнизуют, а мужикам мозги туманят. Мороковать надо: что к чему? Ежли коммуны верх возьмут, стал быть, в два счета все хозяйства загребут в те коммуны, а к чему тогда хрип гнуть? Ужо гонять ямщину буду. Так сподобнее».

И – гонял. Как только схватывались реки, уезжал из Белой Елани в Красноярск будто и до весны не возвращался. Меланья догадывалась: у Харитиньюшки живет, пороз, – а суперечить не могла. Кабы жив был Прокопий Веденеевич, тогда бы мякинной утробе прижали хвост. Сколь раз Меланья кляла себя за то, что отдала мужу два туеса с золотом. Правда, отполовинила в туесах, но все-таки отдала же! А он, Филимон, и к Демке душой не прильнул, и от самой Меланьи отвернулся.

– Чаво тебе? Мое дело ямщина, а твое хозяйство. С вырождением и с девчонками справишься, гли.

– Да вить кругом мужики хозяйство поднимают, богатеют, а ты все едино прохлаждаешься в извозе!

– И што? Такая моя планида. А хозяйство подымать при таперешней власти морока одна. Седне подымешь, а завтра Головня заявится с сельсоветчиками – и спустит с тебя шкуру. Власть-то какая, смыслишь? От анчихриста! Разве можно верить? Погоди ужо, повременим.

Если возвращался из ямщины и по последнему внешнему бездорожью, то не обременял себя работой по хозяйству – жаловался на хворь в ногах, хотя мужик был – конем не переехать. Завалится на лежанку у печки, храпит на всю переднюю избу – силушку копит. Тащили Филимона в комбед, в товарищество взаимопомощи. А он знай себе похрапывает.

– Филя, хучь бы коровник подновил, – скажет Меланья.

– Не к спеху.

– Столбы-то перекошились, упадут.

– И што? В Писании сказано: сойдет на землю анчихрист, и порушатся все заплоты, коровники, овчарни, в тлен обернутся хрестьянские дома, и настанет на земле расейской пустыня арабавинская.

– Што же нам, помирать, што ль?

– Помрем, должно. Как большаки окончательно взнуздают теми коммуниями, так все помрем, яко мухи али твари ползучие. Аминь! – зевнет Филя во всю бородатую пасть.

Работящая Меланья, так и не набравшая тела в доме Боровиковых, родив еще одну девчонку – Иришкой назвали, – без устали вилась по дому, по хозяйству, подстегивая дочерей – Марию и Фроську – с Демкой, а Филя толкует Святое Писание да ласково привечает сельчан, исповедующих старую веру. Не тополевым толк и не филаретовский, а просто старую – двоеперстную без всякого устава службу.

Из богатых мужиков скатился до середняка. Из четверки коней оставил пару для ямщины и пузатого Карьку для хозяйства; из трех – две коровы да десяток овец. А деньжонок и золотишка не тратил – складывал в тайничок «на время будущее».

Под осень 1929 года к Филюшке стали наведываться богатеи Валявины: тестюшка – Роман Иванович, дырник по верованию, и братья его – Пантелей и Феоктист.

Придут под вечер, запрутся в моленной горнице и совет держат перед иконами: как жить? Как обойти советскую власть и как сухими из воды выскочить? Вскоре в дом Филюши невесть откуда привалило богатство – шубы, дохи, кули с добром и всякой всячиной, и все это пере-

носились в надворье темной ночью из поймы Малтата. Не жнет, не пашет Филя, а живет припеваючи. И медок, как слеза Христова, и белый крупчатный хлебушко, и мясца вдосталь.

Средь зимы – гром с ясного неба: раскулачивание!..

Филя не успел сообразить, что означает мудреное слово – раскулачивание, как тесть Роман Иванович и шурыки – Пантелей Иванович и Феоктист Иванович – вылетели из своих крестовых домов в чем в мир хаживают: что на плечах – твое, что за плечами – мирское, колхозное.

«Зачалось! – ахнул Филя. – Али не на мое вышло, как я толковал? Дураки нажили хозяйства, а теперь вытряхнули их без всяких упреждений. Каюк! И тестю, и шурыкам, а так и всем, которые грыжи понаживали себе на окаянном крестьянстве. То-то же! Вот она власть-то экая!.. Кабы я раздулся, как тестюшка, да работников держал, вытряхнули бы теперь без штанов на мороз. Эх-хе! Мое дело сторона. А все ж таки поостеречься надо. Махнуть в ямщину. Али вовсе скрыться?»

Пошел Филя к сельсовету, а там – вавилонское столпотворение. И бабий рев, и детский визг, и мужичий рокот на всю улицу, а возле богатых домов Валявиных – народищу, пальца не просунуть. Мороз давит, корежит землю, белым дымом стелется, а всем жарко.

– Отпыхтели окаянные!..

– Ишь как Валявиху расперло – в сани не влазит, – гудел народ, любуясь, как толстую Валявиху с тремя дочерьми выпроваживали из собственного надворья. Дочери вышли в подборных шубах, начесанных пуховых платках, в белых с росписью романовских валенках.

– Экие телки молосные! Впору землю пахать.

– А што? Лошадей-то вечор у Валявиных всех забрали. Вот таперича он бабу свою да дочек запрягать будет, – злорадствовал конопатый безлошадный мужичишко Костя Лосев.

– Чья бы мычала, а твоя, Костя, молчала, – осадил его Маркел Мызников, по прозвищу Самося, так как был он в многочисленной своей семье «сам осьмой».

– Это ишшо пошто я должен молчать? Советская власть, она знает, кому укорот дать. Как я батрак, таперь имею право...

– Не батрак ты, а лодырюга. Вечно бы пузо грел на печке, откуда у те достаток будет? Каков поп, таков и приход. А Валявин от зари до зари хрип гнул на пашне, и семья его такоже.

– Я вижу, ты, Самося, как был подкулачником, так и остался. Погоди, ишшо определят и тебя на высылку.

– Меня?! Не ты ли меня определишь? За што? За то, што я роблю, а не побираюсь, как ты? Не высматриваю, где што плохо лежит, и у соседей гусаков не ворую?!

– А ты видал, как мы гусаков украли?! Ты нас поймал?! – взвизгнула, подскакивая к Маркелу, сухопарая баба Кости Лосева, Маруська, мешком пришибленная, как припечатали на деревне.

– Ну, поперли! Ишшо этого не хватало, чтоб собирать таперь про всех кур и гусей! Уймитесь! Маркел Петрович! И чего ты взъелся? Ведь не про тебя речь, а про живоглота Валявина. Вот ты скажи, стал бы ты своей скотине глаза ножом выкалывать? Нешто это порядок – изгальтаться над животными?

– Аспид он, Валявин! Аспид! – подхватила старуха Мызниковых. – Собственными глазами видела, как он, асмодей, вчерась за поскотиной игреневую кобылку изнахратил. На заимку ее, должно, волок, спрятать хотел. А навстречу-то по дороге вдруг машина из району. Ну, известное дело, животная, она отродясь такого страху не видывала. У меня самой-то руки-ноги млеют, как ее, окаянную, заслышу. Валявин-то кинулся было ей глаза лохмашками прикрыть, а она, бедная, так вся ходором и ходит, так и ходит! Как поравнялась машина-то – Игренька в дыбы. Валявин и так и сяк, а она очумела, бедная, подмяла его под себя – и волоком, волоком, да по колкам, по колкам! Страсть! Тут он и остервенел. Ножик, аспид, выхватил из-за пима, такой кривой сапожный ножичек – да по глазам ее, по глазам! Я кричу, а он колет и колет!

Уж как она иржала, сердешная! Ну, чисто человек! Да сослепу-то грудью об березу, потом об пень, упала, перевернулась и в тайгу! Таперь, поди, все ноги переломала...

– Господи, Господи! Спаси и помилуй! Ополоумели рабы Твоя...

– Тут ополоумеешь, когда жизнь вся летит вверх тормашкой.

Толпа подавленно гудела. Люди отворачивались друг от друга, как будто всем вдруг отчего-то стало стыдно. Новость про игреневую кобылку взбудоражила их еще больше. Многие остервенело матерились, проклиная и Валявина, и новые порядки, и всю неразбериху. Эта кобылка была общей любимицей деревни, как малое дитя, которого все ласкали и баловали. И вдруг людская любовь почему-то обернулась ненавистью и зверством. Все знали, как Валявин выхаживал эту кобылку, родившуюся в самые морозы, как рбстил ее до весны в избе вместе с ребятишками, как поил из соски. И кобылка, привыкнув к человеческой доброте, лезла в каждые открытые сени, прыгала на крыльцо, а иногда забредала даже в куть, прямо к столу, выпрашивая корочку хлеба или горстку сахара. Не раз навевалась она и к Филе, где малый Демка угощал ее стяннутыми со стола кусками хлеба. Однажды она даже сожрала у них целую миску меда.

– О! Чтоб тебе околеть, окаянная! – матерился Филя. – Пшла, пшла, нечистая сила! Это ты, варнак, привадила проклятую кобылу. Вот я тебе сейчас окрещу, штоб помнил... – И крестил. Кобылу по липким шелковистым губам, Демку – по чем попало.

Но даже и Филе стало жалко эту «окаянную» кобылу, когда он представил себе, как Валявин кривым ножом тычет в доверчивые карие глаза с длинными белесыми ресницами. Украдкой он покосился на нагруженный воз Валявина и втайне поймал себя на мысли: «Туда ему и дорога».

Переглянулся Филя с тестем и голову опустил. Тесть машет ему собачьими лохмашками и кричит:

– Свершилась, Филимон Прокопьевич, анчихристова воля. Выпотрошили из своо дома, лишили всево добра. Ну да мое споманется! Рыком из нутра выйдет. Слезы наши землю наскрозь прожгут.

– Давай, давай, не задерживай!

Длиннополая доха Валявина тащиалась по снегу.

– Отрыгнется мое сельсоветчикам! – вопит Валявин. – Слышь, зятюшка! Да воскреснет Бог, да расточатся врази его!

Зятюшки след простыл. Не помня себя, Филя влетел в дом и, ошалело крестясь, выпалил, что настал конец света и что им с Меланьей и ребятишками надо бы сготовиться, чтоб «предстать в чистом виде» перед лицом Создателя.

– Своими ушами слышал, как сельсоветчики говорили, што надо бы пошшупать Филимона. То есть меня, значит. Грят, будто добро Валявиных у меня припрятано. Кабы худо не было. Не мешкай, собирай рухлядь всю. Живо мне!..

Меланья носилась из угла в угол, из двух горниц в избу, стаскивая богатство батюшки.

III

... Два отцовских туеса с золотом Филя самолично вытащил из подполья и перепрятал в овечий хлев. Но и там не залежались. Ночью разворотил каменку в бане, под каменкой выкопал глубокую ямищу, обложил ее досками, и там, в яме, – еще тайничок, куда Филя засунул туеса с золотом.

Золото! Уж что-что, а золото у Фили никто не вырвет. Ни Господь Бог, ни сам антихрист.

Никогда Филя не работал с таким остервенением, как в ту памятную морозную ночь. Фунтов пять сала спустил с боков и на лицо заметно осунулся, а успел вовремя. К утру заново сложенная каменка на месте тайника весело потрескивала березовыми дровами. Хоть не субботний день, Филе понадобилось попариться. И вышло хорошо. Филя хлестался распаренным березовым веником, когда в дом ввалились сельсоветчики во главе с председателем, Мамонтом Петровичем Головней. Пришли с обыском. Конфисковали кулацкое барахло и самого Филию арестовали как подкулачника. Меланья исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Дем-ка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятю исподлобья, как звереныш.

Филя успел шепнуть Меланье:

– Гляди за выродком – волком зырится! Отвези к куме Аграфене в Кижарт. Сей же час. Пусть там побудет до моего возвращения. Как вроде в гостях. Смыслишь то?

– Ночью-то как?

– Не пискни! Сполняй! Он нас под самый корень срежет. Скажешь: в гости едем. И так дале.

Покорная Меланья заложила лохматого, заиндевевшего Карьку в сани-розвальни, кинула туда охапку лугового сена, положила в головки саней топор на всякий случай – если волки нападут в дороге, наскоро одела сухонького, лобастого и всегда молчаливого Демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы, прихватила кое-какое барахлишко в подарок куме Аграфене и в середине ночи выехала из ограды. Сразу за воротами – дорога в пойму Малтата. А там, в десяти верстах за Амылом, кержачье поселение Кижарт.

Небо прояснилось яркими звездами. Между звездами – точно от крупчатой булки, крошечная краюшка луны. Певуче и сладко скрипел снег под полозьями. Карька лениво шлепал нековаными копытами, будто бил в ладоши.

– Погостишь малость, Демушка, – тараторила мать, подстегивая хворостиной вислопuzого Карьку. – От ученья-то худущий стал. Хоть бы поправился, болезный мой.

– Как же! – пробурлил Демка в облезлый воротник шубы. – То все молились, как бы Бог прибрал выродка, а тут – штоб поправился.

– Окстись, што бормочешь-то?

– Не правда, што ль? Мне в школу надо, а тут – в гости.

– Дык грю: худущий ты. Силов у те никаких нету-ка на анчихристову школу.

– В гости – есть, а в школу – нету? Уйду я от вас.

Мать начала хныкать, сморкаться, жаловаться на свою лихую судьбу, что вот – вырастила сына и добра от него не жди. Демка отмалчивался. Наслышался он всякого от отца и матери, только ни разу никто не приласкал Демку, не пожалел. Гоняли из угла в угол, кидали его книжки, тетрадки, грифельные карандаши, и единственно, в чем согласны были все, так это – что он выродок. И сестры звали выродком, и мать, и отец. И отец ли Демке Филимон Прокопьевич? Жил Демка, как огарышек в поле. Кругом радостная зелень, а огарышек торчит, маячит перед глазами, и никому до него дела нет.

Сам Филя не жаловал Демку. Для него сын – пустое место, как срамной туес, из которого старообрядцы потчуют водицей пришлых людей с ветра.

В ту пору как Филя несолоно хлебавши вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствие призвал к тайному радению невестку Меланью и та осенью 1916 года родила мальчонку, он готов был испепелить все надворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденеевича, а выродок окаянный вот он – жив-здоров!..

IV

...Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострелы из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги.

– Ишь, язва! Как белка летает по дереву, – поглядывал Филимон Прокопьевич. – Кем будешь, Демид: кедролозом аль водолазом?

– Комсомольцем хочу, – сказал однажды сын.

– Што-о? Под анчихристову печать метишь? Я те покажу комсомол! Попробуй токмо. Так исполосую шкуру – сам себя не признаешь.

– Все в школе вступают, и я вступлю.

– Все, гришь? А ну, слазь, лешак!.. Я те покажу комсомол!

И – показал. Содрал с Демки шароваришки на лямках и долго порол ремнем с медной пряжкой, приговаривая: «Вот те, выродок анчихристов, комсомол и вся советская власть. Вовек не забудешь».

Постепенно между отцом и сыном будто кошка хвостом дорогу перемела – оказались чужими. Отец давил на сына жестокою синевою глаз, бил нещадно, на всю мужичью силу, на что сын отвечал угрюмым, настороженным сопением. И хоть бы раз попросил пощады. Упрется глазами в землю – ни слова. Только кряхтит – тяжело, с придыхами.

Как-то поутру Филя позвал Демку в моленную горницу, поставил на колени перед иконой Пантелеймона-чудотворца и спросил:

– Чадо, зришь ли Бога?

Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил.

– Зришь ли Бога, вопрошаю? – наступал Филя.

– Какого Бога? Тут одни доски разрисованные.

– Што-о?! – вытаращил глаза Филимон Прокопьевич. – Доски, гришь? Ах ты, окаянный выродок! – И, как того не ждал Демка, Филимон Прокопьевич схватил его за тонкую шею и ударил лбом в половицы. Раскровенил нос, губы, и кто знает, до какой степени измолотил бы его, если бы под тот час не подоспел Мамонт Головня, председатель сельсовета.

– Истязательством занимаешься? – гаркнул высоченный Головня, вторгаясь в моленную. – За такой номер при советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. Сей момент составлю протокол, единоличная контра!

Филимон Прокопьевич позеленел от злости.

– А ну, гидра библейская, пойдем в сельсовет, потолкуем.

Почувяв недоброе, «как-никак Филимон-то хозяин: а без хозяина и дом – сирота!» – Меланья кинулась в ноги Мамонту Петровичу и, заламывая руки, причитая в голос, всячески чернила собственного сына.

– Кабы знали, какой он вреднуший аспид, осподи! – вопила она. – С отцом огрызается, девчонок затравил, змееныш. А лодырюга-то, лодырюга-то какой, осподи! Сидит себе с книжками, и хоть рожь на нем молоти! Как же такого лоботряса не проучить? В петлю из-за него лезти, што ль?

У Демки от напраслинных слов матери слезы закипели в глотке. Это он-то лодырюга! С утра до ночи работает, и он же лоботряс.

– Уйду от вас! Все равно уйду, – бормотал Демка, размазывая кровь по щекам. – Живите со своими иконами и с Библией. И в Бога вашего дурацкого совсем не верую. Вот!

Пунцовое лицо Филимона Прокопьевича готово было брызнуть кровью – до того оно пылало.

Протокол Мамонт Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филей. Толстоногий, упитанный Филя не знал, чем и оправдаться. Бормотал себе в бороду нечто невнятное о «тятинном грехе», и что у него все нутро выболело, и дал слово больше не трогать пальцем.

Слово свое сдержал – отмахнулся от сына, как будто и не видел его в доме.

Постепенно мутная горечь обиды на покойного тятеньку отстоялась у Фили, как старая опара в квашне. Пусть живет тятин грех, коли Бог не прибрал!.. Да вот беда: времена-то какие смутные!.. Как бы выродок про золото не пронюхал.

И вот Демку мать отвезла к крестной Аграфене в Кижарт...

Вдовая Аграфена приняла Демку ласково. Жила она в маленькой избенке о трех окнах, занималась рукоделием, имела своих пчел, коровенку и кобылу.

Демка старался помогать одинокой Аграфене: и дрова таскал в избу, и за коровой смотрел, и за сеном не раз съездил. Потому что крестная Аграфена сама была хвора. Все кашляла. На грудь жаловалась. А к весне и совсем согнулась, скрючилась, как обруч. Все ей холодно было, мерзла.

Однажды ночью подозвала она к себе Демку, попросила воды, пожаловалась, что в избе не топлено и ей придется умереть, не согревшись.

Демка, конечно, не верил, что крестная Аграфена вдруг умрет. Но однажды утром она не встала с постели. Тогда Демка притащил два беремья дров, растопил железную печку, чтоб крестная немного отогрелась. Но та лежала на деревянной кровати желтая и неподвижная. Рука ее, свисая с кровати, не гнулась. Демка попробовал поднять руку, но вместе с рукой поворачивалась крестная Аграфена. Демка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись, нос стал тоньше, с забавной горбинкой, которой не было вчера...

На похороны приехала мать. Сообщила, что Филимон Прокопьевич сидел в каталажке и, как только его выпустили, уехал будто бы насовсем из Белой Елани, так что в хозяйстве теперь у матери остался только вислопузый Карька да одна корова. Овец и свиней отец прирезал.

Демка как чужой слушал мать. И когда крестную схоронили, он сбегал к кижартской учительнице, наотрез отказавшись возвращаться домой. Учительница приняла Демку, обиходила и отвезла в Каратуз в интернат школы крестьянской молодежи. В Каратузе весною встретил Демку Мамонт Петрович Головня.

– Демид? Ого! В натуральную величину вытянулся. В какой группе учился? В пятой? Маловато. Чем и как жить будешь летом? Не знаешь? А вот я имею соображение. Поедешь со мною в Белую Елань...

– Не поеду! – перебил Демка.

– В каком смысле то есть?

– Не хочу, и все.

– Ну, это ты брось! Заладил. Дело есть при колхозе. Пасека у нас огромяющая собралась. Пчеловодом взяли Максима Пантюховича, предбывшего партизана из Кижарта. Поживешь с ним до осени на пасеке, подкормишься. Ну а зимой, слышь, самолично отвезу тебя в Красноярск на курсы по лесному делу. В самый аккурат будет для такого орла, как ты. Парень ты смысленный. Для чего мы кровь проливали в гражданку? Чтоб такие орлы пропадали заздря?...

Демка не посмел перечить и приехал с Мамонтом Петровичем из Каратуза в Белую Елань. Перед тем как отправить Демку в тайгу на пасеку, Мамонт Петрович наказал:

– Гляди за пасечником-то! Хотя мы его и не выселили с его кулачкой Валявихой: как в работниках он у ней пребывал, а нутро у него подпорченное. В кулаки метил, сивый. Смотреть надо. Ты это таво, Демид, смотри за ним в оба и на ус мотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще! Вырастут!

V

...Из-под мшистых камней пробивается родничок. Прозрачный, звонкий и резвый. Это еще не река, не ручей даже, а только родничок. Здесь путник может утолить жажду. Здесь кругом вольготные заросли дикотравья – дремучие, непролазные дебри – тайга. Родничок журчит, бормочет, сверкает меж камней и бежит, бежит. По пути он собирает другие роднички. И вот уже не родничок, а ручеек. Еще дальше – речушка в шаг шириной.

Так от источника к источнику набираются толщи вод, покуда не заиграет такая вот могучая и гордая река, как Амыл, несущая шумливые воды в слиянии с Тубою в Енисей и дальше в океан льдов.

Демка – еще не мужчина, не парень даже, он только журчащий родничок. Журчит, журчит, бежит, бежит, – а куда? Про то и сам Демка не ведает. Он растет еще, мужает.

Скучно Демке с Максимом Пантюховичем на пасеке.

Пасека далеко от деревни. Очень далеко! Места здесь по взгорью залиты душистым иванчаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбовал место в верховьях Жулдетского хребта для пасеки. Начал строиться. А нынче весною перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков.

Дом еще не отстроили. Не вставили окна, двери. Но дом будет большой, пятистенный.

Тошно Демке с Максимом Пантюховичем у костра. Рыжее пламя плещется, жжет темень, а просвету нет.

Накрывшись дерюгой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит. Бормочет себе в бороду, кряхтит.

Демка наблюдает за Максимом Пантюховичем с другой стороны костра. Вздыхает.

Ночь. Теплая, июльская. С двугорбого хребта тянет в низину верховой ветерок. По берегам речки тоскливо пошумливают лохматые деревья. На прогалине белеет дом с торчащими ребрами стропил. Квадратные глазницы окон без рамин чернеют как пропасти. И кажется Демке, что в срубе дома хозяйничает домовый, черный, лохматый, бородатый, похожий на Максима Пантюховича. И он отчетливо слышит, как домовый посвистывает, перебирает щепы, шебуршит, стучает чем-то, будто на кого сердится. Только бы не ополчился на Демку за щепы и обрезки досок. Если вдруг сядет на шею да крикнет: «Вези, Демка, да не останавливайся!» – вот тогда хана Демке. Бога нет – это точно. Сколь раз тятенька колотил его в моленной. И никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крестная Аграфена кажинную ночь крестик из прутьев на порог клала и под цело. Это от чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки.

Шумливые воды Жулдета ворчат на перекате, плещутся возле берега. Темная туча ползет по небу, застилая звезды и синеву небес, а куда? Учителыша, Олимпиада Петровна, говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю и ляжет вот здесь, возле костра, придавив Демку, Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовьях!.. Да нет, Демка не видел, чтобы тучи спускались на землю в низине. Оседлает туча макушку горы, полежит немножко и уплывет дальше. Но так чтобы туча кого-то придавила – не слыхивал. А кто ее знает! С тучами разное случается. И градом хлещут, и молнией жгут. Глаза Максима Пантюховича, черные, углистые, под метлами косматых бровей, устрашающе поблескивают в отсветах костра. И что так тревожно ухает тайга? И отчего стволы берез возле омшаника черные, а листья отбеливают, трепещутся? И что там в небе за тучей? И отчего так беспокойно Демке? И сердчишко ноет у Демки, и ноги занемели от сиденья на корточках. Наседает гнус. Липнет пригоршнями на продегтяренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожий на большущего паука. Лежит мужик на душистых хвойных лапах, подтянув под себя ноги, охает, как истый лешак.

Муторно Демке. Никого-то, никого у Демки теперь нет. У всех, как у людей, и тятка, и мамка. А у него тятки вроде отродясь не было. «Выродок». Об матери и говорить нечего! У ней Манька, Фроська, Иришка да эти иконы...

Нет, как ни говори, а крестная его любила. И книжки давала читать. Особенно он любил ту, с картинками, про геологов. Вот бы и ему выучиться на геолога и пойти искать в тайге золото и разные там металлы, минералы... А вот теперь он, Демка, за сторожа на пасеке.

– Кинь хворосту! Вишь, тухнет? – рыкает Максим Пантюхович.

Костер и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединою пепла, подмигивая Демке красными бусинками, как будто мышинными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать по охапке?

– Дык горит же, – мямлит Демка, пихая в костер хворостину.

– Ты што? Зачем тебя послали? Помогать?

Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь.

– Ох-хо-хо, – стонет Максим Пантюхович, ворочаясь на хвое. – Душа ноет, мается. Места себе не находит. Эхма! Молодость-то промчалась по земле в бесшабашье, все было нипочем. А вот теперь судьба пристигла – похолодела душа. Нет у ней пригрева: ни детей, ни бабы, ни курочки рябы. Знать, сдохну, и креста некому будет поставить. Ну да об кресте печали не имею. Потому: ни в Бога, ни в черта отродясь не веровал.

Демка внимательно слушает рокот Максима Пантюховича, угодливо соглашается:

– Бога нет. Я тоже не верую... Дурман один.

– Как так?! А тебе откуда это известно? «Не верую!» Да ты сопля, чтобы знать, есть он, Христос-Спаситель, или нет его!..

Демка погнулся у костра, примолк.

Вот так каждую ночь. Хоть беги из тайги. Что-нибудь да выкопает Максим Пантюхович в душонке Демки. Зловредный мужик. Хуже самого черта. И борода у него чернее сажи, и лицо углистое, и нос крючковат, и голова лохматая, как шерсть на неостриженном баране.

Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закуривает. Из залатанных штанин выпирают мосалыги коленей. Он вздыхает, горбится, а из ноздрей – вонючий дым.

– И что меня крутит? – бурчит он. – Который день душа мается, будто пчела в нее всадила жало. И какие мои ишшо годы, чтоб об смерти думать? А вот, поди ты, мается душа. Знать, окончательно переехала ее телега жизни.

– А душа, значит, есть? – Демка вытянул тонкую шею, ждет, что скажет Максим Пантюхович. В отсветах костра насквозь просвечиваются оттопыренные уши Демки, словно большущие лепестки розы с ниточками жилок.

– Душа-то? Ежели мается, знать, существует. Душа у человека – сердце. В нем есть такая чувствительность, что всего тебя переворачивает, и ты не знаешь, куда сунуть голову. Ежели вынуть сердце – капут.

Демка моментально соображает. Если у человека душа в сердце, то и у свиньи есть душа. Он сам видел, как Филимон Прокопьевич, зарезав свинью, зажарил ее сердце. И потом они съели свинячье сердце. А выходит – душу борова слопали.

– И у борова душа есть? – тянется Демка.

– Как так у борова? – Максим Пантюхович повернулся к Демке, подозрительно посмотрел. – Ты ее видел, у борова? Экая сопля! И туда же со словом. Вынуть бы из тебя душонку да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к чему.

Демка испугался. А что, если в самом деле мужик вынет из него душу да себе вставит? У него-то душа, поди, старая, никудышная, а у Демки – как желторотый птенчик, едва оперилась. С такой душой жить да жить!..

От свирепого взгляда Максима Пантюховича губы у Демки слиплись, веки пугливо запрыгали, сердчишко заныло, и весь он, еще более сжавшись узкими мальчишескими пле-

чами, готов был слиться с землей или, превратившись в дым, подняться в небо к звездочкам. Чугунный напор углистых глаз давил Демку, сверлил, пронизывал. Озаряемое красными космами костра бородатое лицо Максима Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на Демку такой страх, что он дрожал как осиновый лист. Не зря же в Кижарте Максима Пантюховича побаиваются! И нелюдимым зовут, и лешаком, и носатиком. А за что? Про то Демка не ведает. Не потому ли Мамонт Петрович наказывал Демке смотреть за ним и, если что заметит подозрительное, немедленно сообщить. А как смотреть? Он, Демка, не знает.

Скорее бы минула мгла парной ночи да настал рассвет. Днем Максим Пантюхович говорит Демке о жизни пчел, о трутнях, которых безжалостно истребляет, заботливо доглядывает за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с ласкою. Никогда не надевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят. Демка не раз видел, как пчелки, ползая по лицу Максима Пантюховича, забирались ему в ноздри, и тогда он громко чихал. Не терпит Максим Пантюхович курильщиков, близко к пасеке не подпускает их, хоть и сам с кисетом не расстается, когда не работает у пчел. «Пшел от ульев, пшел, – кричит он на курцов-махорочников. – Не с твоим дымогарным рылом подходить к вразумленным тварям».

Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантюхович полощет рот кипреем, моется и Демку заставляет мыться настоем воды на кипрее и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, а к ночи он уже не Максим Пантюхович, а лешак. И тогда для Демки наступают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормозит, зырится на него подозрительно и зло, а если Демка прикорнет сидя, он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший? В избушке Максим Пантюхович почти не бывает. «Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу – небушко, – говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду. – Кто помочит, тот и высушит. Кто в озноб кинул, тот и обогреет». Но Демке в его рваной одежонке невесело под такой крышей. Знай таскай хворост для костра да сиди вот так, каменея на корточках. И так до самой зорьки. Как только плеснет по небу зорька и звездочки одна за другой потухнут, Максима Пантюховича одолевает долгожданный сон с тяжелым храпом. Тогда Демка валится на бок и, забыв обо всем на свете, дрыхнет как убитый. Ни укусы комаров, ни гнус – ничто не в силах нарушить сон Демки.

Два дня назад на пасеку забрел гость – в коричневой кожаной куртке с ружьем. Он вышел из тайги под вечер, когда на траву пала роса. Максим Пантюхович угощал пришельца медовой, сотовым медом и переспал с ним в избушке. Демку угнал на крышу омшаника. Утром пришелец, умываясь в Жулдете, подозвал Демку и, заглядывая ему в глаза, спрашивал, есть ли у Демки родители, чей он, у кого живет, и пообещал взять с собой на охоту, если Демка будет прилежным парнем. Но что значит быть прилежным? Что разумел под прилежностью охотник со шрамом на лбу и с такими жидкими русыми волосами на темени, что Демка про себя назвал его лысым? И не его ли боится и караулит Максим Пантюхович?

VI

Макушка горы курилась, как кипящий чайник. Жарища – ни гнуса, ни комарья. И птицы не хлопают крыльями. Максим Пантюхович с Демкой с утра приподняли крышки над ульями, чтоб пчелам не было душно.

К полудню вся тайга укуталась в кипящую струистую мглу. И заросли кустарника по берегам Жулдета и речушки Кипрейной, и горы – все стало сине-синим. Кругом ни облачка. Небосклон не васильковый, а в серой паутине.

Словно пылью одуванчиков, припорошило диск солнца.

С горы Лысухи зашелестел по листьям деревьев резвый ветерок, сразу же напахнуло гарью.

Максим Пантюхович с Демкой работали возле улья; очищали с рамок трутневые свищи.

– Гарью несет! – Максим Пантюхович потянул в себя воздух и, прямя сутулую спину, огляделся. – Так и есть, поджег, сволота? Эх-хо-хо, люди. Куда идут? Кому вред причиняют? Сами себе. Ну, кончай, Демка, пойдем.

Накинули на рядки рамок холщовый положок, испачканный рубчиками пчелиного клея – прополиса, закрыли соломенным матом и пошли варить обед.

После обеда Максим Пантюхович ушел с берданкой в тайгу и вернулся поздним вечером. Демке – ни слова. Выпил кружки две медовухи, спрятался в затенье оплывшего смолкой сруба и так просидел дотемна.

Неповоротливые роились думы. Когда-то и он не был вот таким, нелюдимым и угрюмым, а был просто Максимкой на прииске Благодатном. Хаживал с артельщиками по речушкам тайги в поисках золотого фарта, не вешал головы, когда фарт плыл мимо рыла. Всякое приключалось в жизни! Парнем ушел в город, на «железку». Кочегарил на «кукушке», слушал забастовщиков, побывал в пикетчиках возле депо, схватил лиха в кутузке, а позднее отведал пороховой гари на позициях. Свободушку оберегал пуще глаза. Зачем ему семья? Ребятчи рты? Не лучше ли парить по жизни вольным соколом? И он парил, распушив усы.

На фронте, сразу же как свергли царя, Максим показал немцам спину – и был таков. Керенцы запрятали его в штрафной батальон как дезертира, но он сумел уйти от них.

Пешком от Казани до Рязани и от Рязани до Белой Елани; баловался силушкой.

После солдатчины работать отвык, а харч казенный получать негде было. Поневоле побывал в поденщиках. От литовки разламывало плечи; от комарья – зудилась шея. На удачу Максима, в Белую Елань вышли из тайги партизаны. Винтовки не досталось – подвернулся дробовик. И то не без ружья, стрелять можно. Распушил Максим чуб, нацепил на рукав красную девичью ленту; кругом стал красный. В первой же схватке с беляками пофартило обзавестись винчестером. Сабля на боку, винчестер за плечами, маузеры, две бомбы «картофелины» у пояса, вместо ремня – пулеметная лента – громовержец! Глянет на себя Максим, аж самому страшно. Ну а про молодок-солдаток или там девок – говорить нечего. Не житье, а удаль. Но и удали настал конец. Колчака изгнали, на деревнях мужики засиживались на сходках. Обсуждали новую жизнь, что к чему и как. Максим приземлился в Кижарте. В Белой Елани обошли его мужики. Метил в сельсовет, но там и без него достаточно было героев. И рыжий Аркадий Зырян, и длинноногий Головня, и Павел Вихров, да мало ли? Еще раз повоевал – в банду метнулся... Потом прибил в тайгу – притихший, как вчерашний день.

В Кижарте Максима приняла в дом вдовушка из рода белоеланских Валявиных – хозяйственная бабенка.

Про любовь и разную там чувствительность разговоров не было. Потянуло Максима на пятистенный дом, коровник, пригон для овец, омшаник на сотню ульев. Мать вдовушки, прижимистая старушонка, не дозволила, чтобы дочь вышла замуж за бесшабашного мужика

перекати-поле. Но как одним управиться с таким хозяйством? Сенокосилка, жатка, новенькая молотилка «мак-кормик», маслобойка. Нет, без мужика, без работника невозможно! Так и жил покуда в работниках. Но вот пришел день, и на собрании бедноты вдовушку Валявину подвели под раскулачивание.

По улицам мела поземка, лютовал февраль, а в надворье Валявиных безлошадные мужики заглядывали в зубы откормленным коням. Вдовушка, очумев от горя, вцепившись в швейную машину «зингер», кричала что есть мочи: «Граааабют! Спаааасите, люди добрые! Грабют!» Старуха, распустив юбку колоколом, стоя на коленях, била лбом половицы, призывая на голову «анчихристов» кару Господню. Сам Максим Пантюхович смотрел на все это, как на театральное представление. Был и не был в хозяйстве – как в песне поется: «Ванька не был... Ванька был». И дом, и коровник, и омшаник – все это ему будто во сне приснилось. Жалко только было одних пчел. Уж больно они полюбились Максиму Пантюховичу.

Старуху Валявику с дочерью отправили на высылку, а Максима Пантюховича, работника, оставили при пчелах на колхозной пасеке. Как-никак «без хозяина и дом сирота», а пчелиных домиков у кулаков отобрали видимо-невидимо.

И вот встреча... Зачем припожаловал в тайгу колчаковский капитан Ухоздвигов? Мало он здесь насолил в гражданку?! Какая нужда пригнала?... Неужели за золотом? Говорят, в гражданку папаша его где-то здесь, в тайге, зарыл много золота... И у кого же он скрывается?

Думы одолевали нерадостные. Одна другой хуже. Маячил перед глазами Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов. Сколько лет не виделись, и вдруг – столкнулись.

«Пронюхал-таки, стерва! Знаю я тебя, голубчика. Полгода таскался в твоей банде. Ну а чего теперь тебе от меня надо?... К чему же колхозную пасеку и тайгу жечь? Кому от пожара польза? Переворот пожаром не произведешь. Эх-хо-хо!.. Мечется человек по земле, рыщет, а чего ищет? Чтоб смерть приголубила? Нет, дудки! Прииск поджигать не пойду. Ни пасеку, ни тайгу не трону. Пожарами переворота власти не сделаешь. Ох-хо-хо! Времечко... Не запить тебя, не заесть!..»

VII

Вторые сутки горела тайга. И чем гуще стлался по тайге дым пожарища, тем сумрачнее становился Максим Пантюхович. Ни к ульям не хаживал, ни кусок в горло не лез.

Ночью у костра грел костлявую спину.

– Горит тайга-то, Демка?

– Ага. Горит, – отвечивал Демка.

– Не боишься сгореть в таком пожарище?

– Дык пожар-то далеко.

– Эх-хо! Может и на нашем хребте кукарекнуть петух на красных лапах. Какое тогда. Сгорим. Вроде с прииска пожар начался. Ох-хо-хо!.. Люди!..

Демка вздохнул, облизнув губы. Измаялся Демка с Максимом Пантюховичем. Хоть бы сбежать, что ли. Не по плечу Демке житье на пасеке. Первый взятый меда откачали, а до второго еще неделя. Тогда приедут колхозники. Демка уедет с ними в деревню. Обязательно. Ни за что не останется в тайге.

– И вечер навернуло страшным сном, – гундосит себе в бороду Максим Пантюхович, – и третьеводни. С чего бы? Нутром чую беду, как грыжей погоду. И вроде сила в ногах есть, и телом не так чтобы окончательно изнашивается, только бы жить да жить, а смерть стоит за плечами. Чую, стоит. Вот оно, какой конец пришел мне, шпингалет. Такое наваждение, Господи! И через что? Чрез нрав неукротимый. Сколь лиха схватил из-за дури своей, Господи!.. Всего навидался на своем веку. Пуля другой раз свистнет возле уха, как песню пропоет. А ты чешешь себе, аж в пятках смола кипит. Воевал, воевал, а что завоевал? В какую только петлю шею не пихал, а через что?! И вот опять сыскал меня, подлюга!

– А зачем к вам охотник приходил?

Максим Пантюхович вздрогнул, свирепо повел взглядом:

– Не мели боталом! – и, минуты две помолчав: – У каждого своя линия жизни. У одного – такая, у другого – шиворот-навыворот. А кто знает, куда затянет линия? Кабы знатье!

Демка подбросил в костер хворосту. Стало светлее. Максим Пантюхович подставил к огню сгорбленную спину и замолчал надолго.

Из-за омшаника, издали, послышался собачий лай.

– Кому бы это быть, а?

Максим Пантюхович вскочил на ноги, не забыв вооружиться берданкой.

– Знать, настал мой час, – проговорил он, не обращая внимания на Демку. Где-то за Кипрейчихой трещали сучья. Споткнувшись на хворостинке, старик упал навзничь, прямо в костер, аж искры брызнули, и тут же вскочил, подхватив рукою затлевшие штаны.

Ошалелый взгляд его на секунду задержался на лице Демки. «Ах, да! Вот еще с ним Демка!..»

Демку он не даст в обиду. К чему парню мучиться за чужие грехи? Уж он-то, Максим Пантюхович, знает Ухоздвигова, если что, сущий дьявол, живого свидетеля не оставит. Или сказать все Демке? Открыть тайну узла с Ухоздвиговым? Но поймут ли его люди? Не поймут. Да, может быть, обойдется еще все по-хорошему! Он должен повлиять на Гавриила Иннокентьевича, умиловить бандита словом, авось отстанет. Уйдет в другие места. Тайга-то – море разливанное!..

Вот еще беда-то какая! Будь она проклята, эта нечаянная встреча с Гавриилом Иннокентьевичем! Не думал, не гадал, а жизнь полетела кувырком. И как бандюгу занесло на пасеку? Зачем он дал ему слово исполнить все как следует? А вот как пришлось взяться за исполнение поручения, так и руки упали. Вышел позавчера на сопку хребта, как посмотрел с горы на пасеку и на привольное богатство тайги, так и брызнули слезы. Не ему, Максиму Пантюховичу,

ходить в поджигателях. Дело прошлое – побывал в бандитах. И по сей день скрыл от людей постыдный факт. Так вот крутанула житуха, будь она неладная.

«Душа изныла, а смерть – за плечами. Если что, бандюга выцедит из меня кровушку. Ну да я свое отжил. Молодость напетляла, что век не расхлебать, а парня надо спасти!»

– Дядя, а дядя, штаны-то у тебя загорелись – дым идет, – подал голос Демка, не понимая, отчего так перепугался Максим Пантюхович.

– Тут не штаны, душа горит, парень, – выдохнул мужик, снова хватаясь ладонью за зад шароваров. – Бандюга идет на пасеку. Понимаешь? Бандюга первый сорт. Бери берданку да беги в деревню. Живее! Не заблудись! По Кипрейчихе. Как перевалишь хребет, так иди берегом реки. Скажи там, что, мол, на пасеку пришел Ухоздвигов. Сынок того Ухоздвигова! Не забудь: сынок того самого Ухоздвигова. Скажешь: Ухоздвигов банду собирает из кулаков. И меня приходил сватать на такое паскудство, да нутро у меня не позволило! Слышишь? Не позволило нутро. Так и скажи. Может, прикончит меня бандюга. Иди, иди, Демка. Да не робей. На мою тужурку. В карманах патроны. Краюху бы тебе на дорогу, да бежать надо в избушку. А, вот они, Господи!..

Возле омшаника, шагах в трехстах от костра, выплыли углисто-черные движущиеся тени людей.

– Беги, Демка! Беги, парень. Господи, пронеси беду. Может, отговорю еще? Задержу их. Помоги мне, Господи! Вроде идут двое. Трое, кажись. Беги, Демка.

Демка не слышал, что еще кричал вслед Максим Пантюхович. Он нырнул в чащобу, будто игла в стог сена.

VIII

Есть нечто жестокое в самом ожидании. Приговоренный к смерти отсчитывает жизнь по минутам. Они ему кажутся то мучительно долгими, изнуряющими, то слишком быстротечными.

С той секунды, когда возле омшаника показались пришельцы, Максим Пантюхович соразмерял свою жизнь со стуком сердца. Сперва сердце будто замерло, остановилось. На лбу, на волосатых щеках, на шее Максима Пантюховича выступил холодный пот. Потом сердце лихорадочно стукнуло в ребро и забилось часто-часто, нагнетая кровь в голову. Максиму Пантюховичу стало жарко, душно, не продыхнуть. И вдруг сердце опало. Максим Пантюхович похолодел с головы до пят; спину до тошноты пробрало морозом. Перед глазами расплылось оранжево-зеленое пятно, расходящееся кругами, как вода в омуте от кинутного камня. И сразу же тени людей сплылись в кучу. Вдруг зрение прояснилось. Он увидел все отчетливо и резко, как бывало в детстве. И Ухоздвигова в кожаной куртке, и блеснувшую пряжку ремня-патронташа, и ствол ружья, и насунутую на лоб кепку. Рядом шел незнакомый человек. За ними – еще кто-то, и еще кто-то. Не опознать. И опять зрение укуталось в мутную привычную сетку. Фигуры людей стушевались, предметы слились в черное.

Внутри Максима Пантюховича за какие-то минуты свершилась такая работа, так много перегорело в нем, что он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, усталым.

– Ну, как ты тут, Пантюхович, мудрствуешь лукаво? – были первые слова Ухоздвигова. – Греешься?

– Греюсь, Иннокентьевич, – развел дрожащими руками Максим Пантюхович. – Милости просим к огоньку.

– Что же ты огонька не развел побольше, как мы тогда договорились? Ты же обещал за два дня понаведаться на прииск и поджарить их там?

Едущие, сплывшиеся к переносью, глубоко запавшие глаза смотрели на Максима Пантюховича в упор, не мигая, будто приколотив к тьме за спиною. В горле у него першило, и он закашлял.

– Печенка не выдержала, так, что ли? – впивался допытывающий голос. – Кто тут у тебя побывал после меня?

– Да никто вроде. Места глухие. Даль.

– Не криви душой, Пантюхович, – угрожающе процедил допрашивающий. – Я тебя насквозь вижу. На предательство потянуло, сивый ты мерин!

– Истинный Христос никого из деревни не было. Да и зачем? Взятки увезли, а до другого взятка – неделя-две.

Максим Пантюхович, растрепанный и всклокоченный, облизнул сохнувшие губы, поглядел на окружающих. Тут только он заметил знакомые лица, с кем не раз встречался.

Ни взгляда, ни участия! А трое знакомых мужиков! Соучастники робко прячутся за спину Ухоздвигова. Они даже свидетелями себя не выставляют. Они просто при сем присутствуют и – не по своей, дескать, воле! Вот хотя бы Крушинин: «Пронесло бы, Господи, – молился он. – Конечно же, если Максим Пантюхович останется в живых, то Иннокентьевичу несдобровать. А тогда... Немыслимое дело! Куда ему еще жить, Пантюховичу? Размяк, совсем размяк мужик. Потерял окончательно линию жизни. Прибрал бы его Господь, только бы без ужастей». Под «Господом» Крушинин разумел Ухоздвигова. «Жалко мужика. Вроде безвредный жил, а вот, поди ты, набедокурил. Дело-то щекотливое. Из-за одной срамной овцы, а всем на голову погибель».

Больше всех Максим Пантюхович надеялся на защиту хакаса Мургашки. Именно Мургашку Максим Пантюхович выручил в двадцать втором году из беды. Их было двое в тайге:

Мургашка и Имурташка. Оба они были проводниками у золотопромышленника Ухоздвигова. Мургашка, младший брат Имурташки, пользовался доверием сынов Ухоздвигова, а сам Имурташка – не признавал сынов, а подчинялся только хозяину. Случилось так, что при побеге с прииска сам Ухоздвигов где-то в тайге спрятал золотой запас. Имурташка был с ним. Когда в подтаежье настала советская власть, Имурташка скрылся. И вот вместо Имурташки ОГПУ арестовало Мургашку. Максим Пантюхович, бывший приискатель, партизан, грудью встал на защиту Мургашки. И хакаса освободили.

Но именно Мургашка с особенным нетерпением ждал, когда же «хозяин» воткнет кривой охотничий нож в пузо Максима Пантюховича. Мургашка чувствовал себя отменно, когда сосед корчился в предсмертных судорогах. «Хозяин знает, как надо резать баран. Сопсем плохой дух у блудливый баран».

Но Максим Пантюхович еще верил, что мужики не дадут его в обиду. Он же стоит перед ними в залатанных штанах, в одной грязной, испачканной медом рубахе, безоружный и одинокий. А они все в силе, в здоровье, с ружьями! С кем им воевать-то?

Минуту молчания смел властный голос главаря:

– А парнишка где?

Максим Пантюхович схватился рукой за шаровары.

– Вот так погрелся я, якри ее, – бормотал он, делая вид, что даже не слышал вопроса Ухоздвигова, и стараясь собственной забывчивостью разжалобить, рассмешить мужиков. – Горят штаны-то, робята! Горят! Как припекло-то, а? И не чую даже. Хе-хе-хе!..

Отчаянная усмешка над самим собой Максима Пантюховича мгновенно угасла. Никто ее не поддержал.

– Парнишка где, спрашиваю! – зыкнул Ухоздвигов.

– Демка-то? – Максим Пантюхович развел руками, поддернул прогоревшие сзади штаны. – Должно, спит на омшанике или еще где. Умаялся за день.

– А ну, позови его!

Максим Пантюхович отупело уставился в узкое и длинное лицо Гавриила Иннокентьевича, будто припоминая что-то. «Ишь ты, позвать! Демка, может, далеко не ушел. Вернется на мой голос. Помешкать надо».

– Пойти разве поискать?

Лапа Гавриила Иннокентьевича схватила Максима Пантюховича за воротник рубахи и так рванула, что от рубахи остались рукава да перед. Костлявая спина оголилась. Руки его повисли вдоль тела. Перед рубахи, потеряв поддержку воротника, свесился карнизом, оголилась волосатая ребристая грудь. Максим Пантюхович рванулся было из последних сил, чтоб раствориться в темноте ночи. Но цепкие лапы, теперь уже не одна, а две, три, четыре сдавили ему железными заклепками запястья и горло.

Теперь он перед ними голый, беспомощный. А костер тухнет. Но вот Мургашка подsunул хворосту, напахнуло чадом тряпицы. Ухоздвигов кинул в костер лоскутья рубахи.

– Ты не финти, мерин! – гремел Ухоздвигов. – Парнишка здесь был. Куда ушел? Ну? Крикни ему. Слышишь? Или я из тебя душу вытрясу. Кричи, тебе говорят!

– Што же вы, робята, а? – взмолился Максим Пантюхович. Слезы катились по его щекам, теряясь в зарослях бороды. – Ни в чем я не виноват, робята. Помилосердствуйте!.. Мургашка! Я же жизнь тебе возвернул, спомни!.. Что же вы, а? Не мне жечь прииск, пасеку и тайгу. Ни к чему такое дело. Кому вред-то? Себе же. Потому и руки не поднял на поджог. Ему-то что, Гавриилу Иннокентьевичу? Махнет в город. У него везде найдется угол. А мы-то как? Приискатели чем жить будут? Народ?! Войдите в понятие, мужики. Не трожь меня, ааа!..

Ухоздвигов схватил Пантюховича за горло. Голова мужика болталась во все стороны, зубы цокали.

– Так, так! Бить надо, глупый баран. Сопсем баран! Бить надо баран. Прииск сопетский жалел, баран. Киньжал в бок! – свирепел Мургашка.

– Ты же, мерин, предать меня задумал! На предательство потянуло, дохлый сыч. А ты забыл, какие ты номера выкидывал в моем отряде в двадцать пятом году? Как ты из коммунистов жилы вытягивал? На огонь тебя, Иуда! На огонь. Ты нам сейчас скажешь, куда послал парнишку. Скажешь! Мургашка, подживи костер.

Максим Пантюхович понял, что теперь ему конец. Но он не подал голоса, не вернул Демку. Пусть парнишка уйдет от греха да скажет людям, от чьей руки погиб Максим Пантюхович. «Насильственная смерть скостит с меня все тяжести, какие я навьючил себе на хребет. Изгаляться будет, бандюга! Господи, помилосердствуй! Сниспошли мне смерть скорую, Господи!..»

Сухой валежник, накиданный Мургашкой, поспешно разгорался.

Крушинин, вылупив глаза, обалдело таращился на огонь. Ни о чем не думал. Очумел.

– Так ты не скажешь, мерин, куда послал парня, ну? В сельсовет послал? Говори!

Максим Пантюхович пересилил страх смерти:

– Не скажу, бандюга! Скоро тебя скрутят, попомни мое слово. Демка сообщит про тебя власти. Сыщут и прикончат!.. Попомни мое слово!.. Прикончат!.. И вам, мужики, худо будет! Демка, он...

– А ну, Мургашка, двинь его в скулу! Да в костер! На огонь его, на огонь. Крушинин! Живо!

Крушинин, изнемогая от стонов Максима Пантюховича, топтался на одном месте.

– Что ты мнешься? – кинул ему «сам». – Помогай! Поджарьте этого мерина. Да огня под сруб дома. Тащи туда огонь, Крушинин!.. Живее!..

Максим Пантюхович отпихивался от мужиков, кричал им что-то о каре, но те свалили его голой спиной в пламя костра.

Хватая судорожными глотками воздух, Крушинин опустился на землю.

– Праааклинаю, бандюга-а-а! – истошным воплем понеслось в глухомань тайги. – Праааклинаааю!..

IX

Истошный вопль Максима Пантюховича подхлестнул Демку. Он еще не верил, что на пасеку заявились бандиты. Но вот тайга, вся лесная темень лопнули от крика Максима Пантюховича. Со всех рассох, падей, с каменистых обрывов двугорбого хребта неслись истошные крики.

Демка кинулся бежать. Темень, хоть глаз выколи. Выставив вперед руки, чтоб не напороться на сучья, он шел, спотыкаясь о валежины, падал, спохватываясь, не чуя под собою ног. По крутому склону отрога хребта он лез на четвереньках. Сердчишко Демки исходило в страхе, пот застилал глаза, головенка тыкалась то в коряжины, то в пни, трава царапала щеки, но Демка, не чувствуя боли, лез и лез в гору. Он не знал, куда карабкается, что его ждет там, на горе, единственное, что его подгоняло, был страх перед бандитами.

Сколько он прошел, вернее, прополз, он и понятия не имел. Но здесь, на горе, среди шумно лопочущего леса, он немножко пришел в себя и, переведя дух, осмелился оглянуться. И что же он увидел? Танцующее пламя на том месте, где была пасека!..

– А! – вылетело у Демки.

Больше он ничего не мог сказать. Горел сруб дома. Вся пасека в багряных отсветах пламени видна была с горы как на ладони. Ряды пчелиных домиков, старая береза возле избушки, крыша над омшаником, а там, за Жулдетом, отвесная стена черных елей. Горящие головни, подхватываемые огненным вихрем, взлетали в небо, рассыпаясь над землей летучими искрами. Ветер нес валежник.

– Горит, горит! – бормотал Демка. По щекам его катились слезы. – Горит, горит!.. Все горит.

Но вот по ту сторону Жулдета поднялся к небу столб огня. Пожар перекинулся на тайгу.

Возле пасеки суетились какие-то люди. Двое или трое. Они были до того маленькие, как те домовые, про которых когда-то рассказывала крестная Аграфена Карповна.

– Все, все сожгут, – вздыхал Демка. – И Максима Пантюховича сожгли, наверно, и все ульи!.. А что, если меня сцапают? Тот бандит-то видел меня на пасеке... Ухоздвигов, значит. Вот он какой, Ухоздвигов-то!..

И Демка кинулся в дебри.

Труден путь по бездорожью и бестропью. Но во сколько раз он труднее по тайге! Демка не шел, а вламывался в чащобу, шаг за шагом. Деревья то сплывались стеной, не пройти, то расходились на шаг-полтора, как бы открывая двери в некое потаенное местечко. И так – дверь за дверью, шаг за шагом. Тужурку Максима Пантюховича Демка тащил то на плече, то волочил за собою, и она ему мешала, цеплялась за деревья. Он хотел ее бросить. Но ведь в карманах тужурки патроны от берданки!

– Зарядить надо берданку. Если что – двину, – подбодрил себя Демка.

Присел на валежник, зарядил берданку, выкинул холостой патрон. Долго искал патрон, завалившийся в траву, и найти не мог.

Натянул на себя тужурку, закатал рукава и опять пошел вперед, шмыгая и разговаривая вслух, чтобы самому себя слышать:

– Если зверь налетит – пальну. Да нет! Заряды-то дробные. Пальнешь, пожалуй! Он потом, зверь, как насыдет на тебя, так враз кишки выпустит. А может, есть заряды с пулями?

Демка говорит с паузами, вставляя. Он теперь не шпингалет, а мужчина, настоящий мужчина. Тайга – и он в тайге. И больше никого. Но страхота-то какая!

Х

На солнцевосходе Демку сморила усталость. Он присел возле выскори – вывороченного из земли дерева, зажал берданку в коленях и крепко заснул.

И чудится Демке, что он не в тайге, а плывет на большущем белом пароходе по Енисею, на том самом пароходе, какой он всего один раз видел в Минусинске. Тогда Демка стоял на крутом берегу и нюхал, именно нюхал пароход. Смотрел и нюхал. Пароход так вкусно пах, что он так бы и съел его. Толстущая коса пароходного дыма стлалась по самому берегу. И Демка, раздувая ноздри, втягивал в себя запах каменного угля. Такого запаха не было в тайге.

– Ох, какой он пахучий! – восторженно отозвался Демка, на что дружок его, чернуший Степка Вавилов, поддернув штаны на лямке, ответил:

– Они все пахучие, пароходы. Я завсегда их нюхаю.

– Вот жратва так жратва! – вздохнул Демка. – От одного запаха можно насытиться.

– Ну да! Насытишься, – пробурлил Степка, – это ж так воняет каменный уголь. Перекипят камни в смоле да жгут их потом. А тятка говорит, будто вынимают из земли этот камень. Если, значит, наверху земли камень – тот простой камень. А если под самой землей камень – тот каменный уголь.

Из разъяснений Степки Демка уяснил только одно, что большущие пароходы на Енисее жрут каменный уголь. И этот уголь чрезвычайно вкусно пахнет. С той поры, как только Демка, возвращаясь к приятным воспоминаниям, тешил себя видением парохода, он припоминал запах парохода и никак вспомнить не мог. Перебрал все запахи на деревне, в тайге, на пасеке, но ни один не был похожим. И вдруг сейчас, в тяжкую минуту, во сне, на Демку повеяло тем самым чудесным запахом!

Демка во сне захлебнулся от удовольствия. Чудно! Он плывет на пароходе и в то же время – видит весь пароход, будто сидит не на самом пароходе, а на толстой косе пароходного дыма и смотрит на пароход сбоку. Но он, Демка, плывет! Конечно, плывет! Он чувствует, как качается его головенка от движения парохода по волнам Енисея. Вперед и назад, вперед и назад...

Сладкий утешительный сон. Но если бы Демка не спал так крепко, он бы видел, как в каких-то тридцати шагах от него по высокогорной тропе в сторону Верхнего Кижарта прошли бандиты: охотник в кожаной куртке, что приходил к ним на пасеку, и еще какие-то двое.

Такова матушка-тайга!

Кто не бывал в тайге, тому трудно ее понять – непроходимую, со звериными тропами, где легко потеряться, но нелегко выбраться новичку. Тут можно пройти мимо батальона солдат, спрятавшегося где-нибудь в пади, а остаться уверенным, что кругом безлюдье.

Демку разбудил стук дятла и запах дыма. Будто кто-то стучал в ухо: «Беги, Демка, беги! От смерти уходишь!» Демка испуганно проснулся. Над ним в сизой паутине дня качается широченная лапища сосны. И сразу же на Демку наплыли ужасы минувшей ночи: столб огня в зажулдетской стороне, истошный вопль Максима Пантюховича, пожар пасеки, черные фигуры бандитов. Надо бежать, бежать. Но куда же он забрел ночью? Впереди деревья и с боков деревья. Под ногами прошлогодние, иссохшие на корню травы, прикрывающие едва пробившуюся зелень, валежник, трухлявые пни, а сверху – мглистое, горячее небушко без солнца.

Солнце где-то над головой, но его не видно. Между солнцем и землею – синие разводы плавающего дыма.

У Демки болят исцарапанные руки, колени, мозжит все тело. Ему бы хоть глоток воды! Всего один глоток. От вчерашних страхов пересохло внутри. Губы у Демки обгорели и во рту сушь, точно он наглотался горячих углей.

Но где же течет Кипрейчиха – слева или справа? А может быть, надо идти вот так прямо, к Становому хребту Жулдета?

Поник Демка. Он не знает, куда ему идти. А идти надо. Не стоять же здесь, под сосною возле выскори!

Прежде всего Демка обшарил карманы тужурки Максима Пантюховича. Из одиннадцати патронов, оттянувших карман, только семь оказалось с зарядами. Пять с дробью и два с пулями. Демка разложил патроны на тужурке и долго разглядывал их. «Как налетит зверь, пальну», – решил он, заряжая ружье.

В другом кармане тужурки нашелся складной кривой нож с деревянной рукояткой и неполный коробок спичек. И еще какая-то тряпка. Демка завернул спички в тряпку, чтоб не отсырели.

«Максима Пантюховича нету-ка таперича, – вздыхал Демка, соображая, как ему поступить с тужуркой. – Рукава обрежу, и она мне придется в самый раз».

Так он и сделал, потом двинулся дальше по отрогу, наугад, куда судьба выкинет. Ту горную тропку, по которой утром прошли бандиты, Демка пересек, даже не заметив.

Июльский денек – семнадцать часиков. Немалый путь прошел Демка по глухолесью до того, как солнышко свернуло в заобеденную грань. В рассохе между Становым хребтом и его отрогом Демка отдохнул у речушки, напился, умылся и побрел дальше.

XI

...Накануне Нового года по укатанному санному следу, скрипя подполозками, на большак Белой Елани выехала кошева. Мимо полуотстроенных новых домов, мимо присыпанных снегом руин пожара провели из тайги пойманных бандитов. Вся деревня сбегалась посмотреть на виновников своего несчастья. Ребятишки, улюлюкая, стеною валили за кошевой, буравя крупитчатый снег по обочине дороги.

– Пошли отсюда! А ну, назад!.. – кричал Мамонт Головня, размахивая рукояткой бича.

Бандитов было двое. Мургашка и охотник Крушинин. Их поместили в сельсовете, в жарко натопленной комнате с буфетной стойкой. Приставили стражу и дали отдохнуть до утра.

Косясь на мужиков, Мургашка лежал на полу маленький, желтый, как лимон, выкуривая одну трубку за другой. Одет он был в какие-то лохмотья, в яловые ичиги, а с головы так и не снимал рваную баранью шапку-треух.

– Ну, как тебя звать, гость дорогой? – спросил Головня, суживая маленькие колючие глазки и закуривая козью ножку.

– Мургашка.

– А фамилия?

– Меня все звал Мургашка. Нас два был – Мургашка и Имурташка. Я, который вот я, и другой, который был главным проводник самого хозяина.

– Какого хозяина?

– Один был хозяин тайга. Ухоздвигов.

– Кем же ты был, второй Имурташка?

– Работал немного. Земля таскал. Всего делал немного.

– На кого работал?

– На хозяина. Кого еще? – рассердился хакас.

– Откуда ты родом?

– Какой «родом»? Не понимайт. Ты кто? Начальник?

– Председатель сельсовета.

– Пошто хлеб не даешь, председатель? Пошто голод держишь? Мургашка закон знает. В тюрьма хлеб дают. Баланда дают. Чай дают. Сахар дают. Прогулка. Советская власть нет закон бить. Ваш колхозник бил! Зачем бил Мургашка? Я шел тайга. Мало-мало охотился. Медведь смотрел. Ружье был. Билет был. Все забрал!

Мургашка, успев отдохнуть, заготовил целую речь. Он, конечно, знать ничего не знает ни о каком Ухоздвигове!

– Все врешь ты как сивый мерин, – сказал Головня.

– Ты, председатель, не имейт права так говорить. Я сказал: был в тайга на охота, значит так запиши. Другой ничего не знайт! Ваш колхозник все скажет. Я ничего не знайт!

– Знаешь! Где сейчас Ухоздвигов?

– Может, помер, может, нет.

– Финтит, язва, – сказал один из мужиков, стороживший Мургашку с карабином наизготове. – Хитер, подлюга.

У Мургашки огонь в глазах. Желтые, прокуренные зубы щерятся – вот-вот укусят!

– Сколько тебе лет, Имурташка? – спрашивает Головня.

– Мургашка я! Мургашка! Трисать зим Мургашке. Сопсем молодой. Имурташке сорок пять зим давно. Должно, сдох теперь Имурташка...

– Тоже мне, молодой! Жених прямо!.. Ссохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий... Вши вон по тебе ползают. Тридцать зим Мургашке, а уже каюк, да?...

Мургашка хмурится, попыхивает едким самосадом и, чтобы не продолжать разговора с Головной, свертывается калачиком, ложится в угол за шкаф, бормочет:

– Мургашка ничего не знайт. Мургашка будет помирай.

Головня спрашивает у стоящих в охране рабочих прииска – сына и отца Улазовых:

– Их что, не кормили?

– Какое! Буханку хлеба слупили да чаю выдули чуть не с ведро, – поясняет Улазов-отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет шестидесяти. – А што, Мамонт Петрович, скоро мы их спровадим в огэпеу? Противно на них смотреть, пра-слово. Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка. А Крушинин, – Улазов качнул головой в сторону охотника, укрывшегося однорядкой, – орудовал в нашей тайге при Колчаке. Знаю я его как облупленного. Сдается мне, он да Мургашка этот знают все тайные ходы Ухоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл.

– А ну, поднимите его! – Головня подвинул к себе стул.

Крушинин привстал на локоть, зевнул.

– Значит, бандит со стажем?

Крушинин молчит, будто не у него спрашивают.

– Я у тебя спрашиваю, Крушинин!

– Крутилин я, товарищ председатель. Как вechор говорил, так теперь поясняю: нивчью попался! Пришел вот на заимку вот этот косоглазый...

– Хе-хе-хе, ловко! Насобачился, стерва, – замечает Улазов-отец. – Вы, Иван Михеич, не играйте в прятки. Мамонт Петрович не любит кривых выездов. Говорите правду-матку. Вам ловчее, и нам легче.

Крушинин, вылупив глаза, непонимающе помигивает на Улазова. Накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены, отвечает:

– Да ты чо, паря? Ополоумел или как?

– Давно ли ты, Иван Михеич, перелицевался? – спрашивает Улазов-старик. – Финтишь, а ведь люди-то знают тебя! Не Крутилин ты, паря, а Крушинин. Две буквы переделал в фамилии, а вот про душу-то, паря, забыл. Родом ты, паря, из казачьего Каратуза, а не из Кижарта. Земляки мы с тобой. Аль запаматовал Улазовых? Ты казак, и я казак. Ты рубил красных, и я рубил красных... по дурости, прости меня, Господи, как не разобрамшись. Тогда тебе нашили лычки... Я за свое казачество, паря, отбрыкал семь лет, а вот ты бы не сносил головы.

– Вот оно какие дела! – проговорил Головня, встав со стула.

– Поклеп, товарищ председатель. Обознался мужик-то. А мне-то, мне – петля! Охотник я из Кижарта. Там и семья у меня...

– Ты не сепети, – урезонил Улазов-отец. – Я и в Кижарте встречал тебя, и в Сухонаковой!.. Видал, а молчал. Думаю, пусть живет мужик, коль прибил к берегу. Сбежал ты со ссылки-то. По дороге сбежал. И семью свою уволок. Двух детишек схоронил по дороге. Все знаю!.. Но таперича молчать не стану. Потому – с бандой увязался.

Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел исподлобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны, только бы убежать.

– Свяжите его, – сказал Головня. – Скоро мы их отправим.

Сын Улазова, такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не обронивший во время разговора отца с Головной, молча связал руки Крушину, хотя тот и пустил слезу, умоляя Улазова-старика отказаться от своих слов.

Вскоре после ухода Мамонта Петровича в буфетную зашла Авдотья Головня. Румяная, нарядная, она всегда входила гордо, грудью. Никто еще из мужиков не видел ее угрюмой, мрачной. Она была приветлива, легка на шаг. Авдотья попросила оставить ее на минутку с Мургашкой.

– А ежлив што случится? – косился Улазов. – Ить они в окно выпрыгнут. Тогда как?

– У меня не выпрыгнут! – успокоила Авдотья. – Да вы встаньте один у двери, другой у окна. И охотника возьмите с собой в сени. Я буду говорить одна с Мургашкой. Мне Головня велел, – соврала Авдотья не моргнув глазом.

– Ну велел так велел. – И ушли.

Мургашка притворился спящим. Но, услышав насмешливый голос Авдотьи, приподнялся, невозмутимо посмотрел на нее и, не торопясь, стал набивать алюминиевую трубку.

– Што надо, баба?

– Мне тебя надо.

– Я весь тут. Вот он.

– А весь ли? Может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к Разлюлюевскому местечку? – Авдотья хитровато щурит черные глаза, присаживаясь на корточки возле Мургашки.

Мургашка не любит женщин. Мургашка не выносит женского взгляда. Он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотье.

– Да не дыми ты, Саробл!

– Как?! Как?

Мургашка даже трубку выронил от такой неожиданности. Саробл, Саробл! О великий Хангай! Это же его настоящее имя, некогда пропетое ему над колыбелью матерью. Как узнала баба его настоящее имя? Ведь по обычаю Мургашкиного рода ни одна женщина не смеет вслух произносить имя мужчины. Даже мать поет над колыбелью сына, называя ребенка как угодно, только не своим именем, чтобы злые духи не подслушали и не унесли его. Но, видно, женщины Мургашкиного рода не соблюли этот закон со всей строгостью. И вот налетели злые духи, принесли неизвестную болезнь, и не стало в юрте ни отца, ни матери, ни сестер. Может быть, и Мургашки не было бы, если бы не забыл он навсегда своего имени? Всю жизнь Мургашку знают как Мургашку, и никак иначе. Когда они с братом пришли в тайгу к Ухоздвигову, он приютил их, назвал брата Имурташкой, а его Мургашкой, так это и осталось навечно. Никаких документов у них никто не спрашивал, да они и не имели их. «Ты, Имурташка, – сказал золотопромышленник, – будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу, искать в ней золото. Ты будешь первым Имурташкой на всем белом свете!» А Саробл стал Мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла советская власть и Мургашку посадили в тюрьму, чтобы допытаться, куда хозяин упрятал свое золото, Мургашка так и не сказал своего настоящего имени, будто его и не бывало. Круговерть унесла все в тартарары. С тем из тюрьмы и вышел.

– Как? Как ты сказал, баба? – переспросил Мургашка, поднимая трубку.

– Да разве ты забыл свое имя, Саробл из рода Мылтыгас-бая? – удивилась Авдотья, отмахивая ладонью вонючий дым.

– Ты сам шайтан, баба! Как знал – Саробл Мылтыгас? Кто сказал? Ты – кто?

– Твой дом сказал. Я живу в твоём доме, который построил вам с братом хозяин. Хороший дом. Только больно потолки низкие. Как у вас в юртах. Эх ты, Саробл Мылтыгас-бай!..

– Так не говори. Я – Мургашка. Всегда Мургашка.

– А я вот знаю, что ты не Мургашка, а Саробл Мылтыгас-бай. Помнишь, как ты приходил к нам в Белую Елань с братом. Тогда я была еще совсем девчонка. Ты сидел на крылечке... Помнишь? А мой отец и твой хозяин Ухоздвигов Иннокентий Евменych обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом. Я тебя еще напоила чаем. А ты просил варенья и меда. Помнишь? Ну вот. А в твоём доме теперь живу я. В подполье я нашла шкатулку. Там лежали ваши метрики, в труху истертые, какая-то книжка, разные бумаги. Неужели ты совсем забыл про свою юрту, Саробл? Про свою мать.

Хмурое лицо Мургашки заметно переменилось. Нечто живое тенью прошло от его потухших глаз до бескровных губ – и сгасло.

– Мой юрта! Мой юрта!.. Мой баран!.. – бормотал Мургашка, в такт слов покачиваясь всем корпусом. – Был юрта – нет юрта!.. Шайтан забрал!.. Был Саробл Мылтыгас-бай – нет Саробл Мылтыгас-бай!.. Есть Мургашка. Сопсем один. Помирать надо. Заптра помирать. Жить не надо Мургашка... Зачем живет? А? Сопсем плохой человек. Сопсем дурак. Вот такой. – Мургашка очертил круг трубкой в воздухе. – Круглый дурак! Живет – зачем живет? Сам не знайт. Когда был царь, когда был порядок тайга, Мургашка знал, зачем жил. Был хозяин у Мургашка. Нет царь, нет порядок, нет хозяин, есть много нашальник – Мургашка помер. Нету! – И грустно покачал головою. Жидкая бороденка тряслась, как у старого емана.

Авдотья притронулась рукою к плечу Мургашки и, склонившись, тихо спросила:

– Скажи мне, будь добрый, только правду скажи... Где твой молодой хозяин?

Мургашка выпрямился, отстранил руку.

– Ты шиво? Баба! Шайтан? Какой хозяин? Я шел охота. Помирать шел в своя тайга. Меня забрал дурак! Бил!.. Я брал билет. Медведя хотел стрелять. Меня...

– Зачем ты мне-то городишь чушь этакую? Я же протокол не пишу. Ты же видишь – один на один разговор веду? У меня... дочь есть, Мургашка. Понимаешь?! Дочь! Эта дочь...

Мургашка сузил глаза, присмотрелся:

– Тебя как звать?

– Дуня... Юскова. Головня теперь. Помнишь Елизара Елизаровича Юскова?

– Дуня? Ализара Ализарыча? Ай-яй!.. Знай!.. Гаврила любит тебя, скажу, Дуня. Сильно любит, шайтан. Сном видит тебя. Я буду ворожить, дай бобы. Есть бобы? Нет бобы? Ну, ладно. Спичка пополам, будем ворожить. Скажу тебе все про хозяина.

Хитер хакас! Авдотья, невесело ухмыляясь, смотрела, как Мургашка, ломая спички, пересчитывал их, потом положил перед собой, разделил на три кучки, потом еще на три, и еще на три, разложив кучки в три ряда. Что-то помешал, подул вправо и влево, а тогда уже, вздохнув, заговорил:

– Слушай, Дуня. Не перебивай. Бобы правду держат – на червонного короля Гаврил. Фамилий как – не знаю. Бобы не сказал. Имя сказал. Гаврил. Всю жизнь сказал – вперед и назад. Все сказал. Страшно! Ой-ой-ой, как страшно. Боишься?

– Не из пугливых, говори.

– Молчать будешь?

Авдотья кивнула головой.

– Бобы сказал: был Гаврил богатый батыр – стал бедный батыр. Мало-мало живой.

– А дальше?

– Не перебивай!.. Когда родился батыр, звезда упал с неба и утонул в воде. Вода была холодный, плыл туда-сюда лед, звезда замерз и сопсем потух. Тогда сказал шаман: «Твой звезда, Гаврил, утонул в лед. Ты будешь ходить свобода. Будешь искать – нет нигде!» Так сказал шаман. Гаврил жил, мало-мало искал счастья, мало-мало любил русский дебашка-красавиц. Был одна самый красивый. Он стал баба председатель.

– Не ври, – не удержалась Авдотья.

– Пошто мешаешь? Бобы говорит – не я. Не надо – буду молчать.

– Говори, говори.

– Потом начался холхоз. Новый порядка. Беда! Гаврил много шел тайга, ломал себе ноги. Хотел в тайга спасться, искать свой звезда. Искал долго, плохо кушал, плохо спал, сильно мерз зима! У, как сильно! Брр! Сопсем простыл, захворал... Идет Гаврил по тайге – рысь упал с дерева – плечо выдирает сопсем! Еще больше захворал Гаврил. Черный стал день и черный ночь... Никто не стал лечить Гаврил. Он лежал – помирать хотел. Стал копать яма себе – глубокий яма. Ой-ой, как глубокий. Хотел сам лечь яма и помирать, чтоб медведь не тащил кость...

– Врешь ты все! Врешь, Саробл! Не верю я тебе, – вскинулась Авдотья, ухватив Мургашку за бешмет.

У Мургашки выпала трубка из зубов.

– Шайтан-баба! Шайтан-баба! Пусти! – бормотал Мургашка, отодвигаясь от Авдотьи. – Ты сопсем не Дуня! Ты шайтан-баба! Чего хватал за грудь. Чего дергал Мургашка?

– Ну, скажи же, наконец, жив он? Жив?

Мургашка подтянул под себя ноги калачиком, запахнулся.

«Ух какой злой баба! Горячий баба», – подумал, косясь на Авдотью.

– Не сердись! Скажи же, что дальше говорят бобы?

– Ничаво дальше нет. Кончал базар!

– Ну, будь добрый! Не мучай меня. Доскажи судьбу-то Гаврилову. Не про себя же ворожишь?

Зажмурив глаза, Мургашка подумал. Подвинулся к разложенным бобам-спичкам:

– Чо последний сказала?

– Сказал, что стал он яму себе рыть...

– Когда сопсем глубоко стал рыть – нашел золото. Много золота! Ой-ой, как много!.. Свой звезда нашел. Тот, что искал. «Я не буду помирать, – сказал Гаврил. – Возьму золото. Маленько возьму. Много оставлю»... И ушел из тайги. Сопсем ушел.

– И опять ты врешь, Саробл! Не может этого быть.

Мургашка пожевал трубку, покачал головой, смахнул ребром ладони спички-бобы, рассердился:

– Ты шибко хитрый баба! Я тоже хитрый. Хошь знать больше Мургашка? Вот как!.. Бобы все врал – ты слушал, – и усмехнулся вымученной улыбкой.

XII

В тот же день Мургашку с Крушининым-Крутилиным увезли в Минусинск в ОГПУ.

Мургашка плевался всю дорогу:

– Какой баба! Тьфу, ведьма! Дунька – ведьма!.. – и цыркал желтой слюной по белому снегу.

Крушинин-Крутилин, притворившись казанской сиротой, плаксиво бормотал в спину Улазова-отца:

– Душу мою погубить задумал, паря. А с чего? Что мы с тобой не поделили? Я поперек твоих дорог не хаживал, а ежлив ты зуб поймел на меня за ту выдру, которую я тогда достал в Кижарте, то поймей в виду, на кляuze ты никуда не уедешь! Значит, зло сорвать хочешь на моей судьбе?

– Не ври, – ответил Улазов-старик. – Никакой выдры в помине не было. Едешь и придумываешь, как тебе ловчее выкрутиться.

– Господи! С выдры-то и понес на меня!

– Не умничай, Иван Михеич. Ни к чему, – ответил Улазов-старик. – Таперича советская власть. Ее на кривой кобыле не объедешь.

– То-то ты и выслуживаешься! Хвост-то, он и у тебя примаран.

– Я от старого давно отторгся.

– Знамо дело! С берданкой энттой куда ловчее управляться, чем хрип гнуть на пашне. Все Улазовы лодырягами были. Помню. Не забыл. Весь Каратуз знает – как сенокос или страда, так Улазовы работников ищут! А таперича вам совсем лафа – набивай пузо дармовым хлебушком!

– Заткнись! Или я тебя изничтожу, как при попытке к бегству!

– Пуляй, пуляй! Токмо свидетелей куда денешь?

Так, всю дорогу и ехали, ссорясь.

Ночью Мургашка не спал, бегал из угла в угол по каталажке, насмерть перепугал Крушинина-Крутилина, беспрестанно бил кулаком в дверь, вызывал начальника.

На первом допросе у начальника Мургашка метался как угорелый.

– Ой-ой, я сопсем ничего не знайт, начальник. Не был банда, нет в тайге банда! Тайга сам горел. Ничего не знайт!..

Самое страшное началось в обед, когда в каталажку подали в глиняной миске картофельную похлебку на мясном бульоне. Крушинин-Крутилин, подвинувшись к Мургашке на нарах, хотел было принять свою миску, чтобы пересесть от вонючего соседа подальше, как вдруг Мургашка подпрыгнул, дико отшвырнул алюминиевую ложку: ему показалось, что из миски по черенку ложки ползла золотая змея с белыми глазами. Сперва он глядел на нее ошалелым неподвижным взглядом, но потом, когда исчезла ложка и миска, а на месте ее толстым клубком, шевелясь кольчатым туловом, оказалась змея, Мургашка вскрикнул, отшвырнул миску в сторону. Тут и началось. Со всех сторон камеры тянулись к нему золотые змеи. Из окон, с потолка, из подполья – отовсюду ползли змеи. Мургашка видел, как, медленно передвигаясь, выполз золотой удав с головой Ухоздвигова.

«А! Мургашка! Ты что же, подлец, делаешь? – сказал хозяин, вылупив на Мургашку фиолетовые глаза. – Ты что же, а? Подлюга! Предаешь меня?» – и потянулся к шее Саробл Мылтыгас-бая.

Вид его был ужасен. Воспаленные, налившиеся кровью глаза с мешковатыми отеками в подглазьях дико озирались, не задерживаясь ни на одном предмете. Мургашка за неделю осунулся, страшно пожелтел, будто в самом деле помирать собрался. Что бы ему ни подали: чай, хлеб, трубку, – везде он видел змей. Они его душили, мучили. «Ой-ой! Давай нашальника! –

вопил Мургашка во все горло, когда его связали. – Зачем запирали Мургашка? Зачем напускал змей? Ой-ой!...»

Мургашка, умевший забывать даже собственное имя, так и не дал ни одного показания. С тем и отправили его в Томскую психиатрическую больницу, как это случилось в 1923 году с его старшим братом Имурташкой...

Крушинин-Крутилин сознался в преступлении злоумышленного поджога тайги, не забыв главную вину свалить на Ухоздвигова. Суд присудил ему высшую меру наказания за убийство и поджог. Но после кассации приговор заменили десятью годами.

...Спустя семь лет Мургашка снова вернулся в тайгу доживать век – больной, помятый и какой-то бесцветный; не житель, а пустоцвет на земле.

Завязь четвертая

I

Старый хмель жизни не слился с новым. Размышляя над судьбою Демида, уехавшего учиться в город, Филимон Прокопьевич вспомнил библейскую притчу о том, что никто не вливает молодое вино в мехи ветхие; иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет. И никто, пив старое вино, тотчас не захочет молодого, ибо говорит: старое лучше.

Молодое вино бродило, пенилось в деревне, набирая силу. Мужики хоть и оглядывались на старину по привычке, а все-таки не сидели сложа руки – работали в колхозе.

«Может, и Бога вовсе нету?» – соображал Филимон Прокопьевич.

Три года Филимон Прокопьевич скитался по свету, промотал хозяйство и вернулся домой осенью 1933 года «со вшивым интересом»; и на Рождество, подсчитав свое единоличное состояние, порешил отпихнуться от старой жизни.

Всю ночь сочинял заявление о приеме в колхоз. Меланья клала поклоны в моленной горнице, где когда-то радели тополевы и покойный свекор толковал ей таинственный смысл бытия о дочерях Лота, а Филя, мусоля языком химический карандаш, описывал всю свою «жисть», как он ее понимал. Начал с тополевого толка, и как дремуче веровали люди в пору его молодости, и как измывался над ним покойный тятенька, и что он, Филимон, долго не мог высвободить затуманенную голову из густых зарослей старого хмеля...

Был морозный день, когда Филя уложил на сани уцелевший сакковский плуг, деревянные бороны, подцепил сзади телегу и, нахлестывая Карьку, перевез свое богатство в колхозную бригаду, которая размещалась в надворье раскулаченного тестя Валявина.

– Вот оно, все мое единоличество, – сказал Филя.

– С таким достоянием, Филя, на тот свет в самый раз, никаких излишков, – посмеялся бригадир Фрол Лалетин, такой же рыжебородый, как и Филимон.

– Корову тоже привести?

– Держи у себя. А вот телушка, видел, стоящая. Добрая корова вырастет. Отведи ее на нашу ферму.

– Ишь как! – щелкнул языком Филя. – Как же без мясца проживу? Силов не будет на работу.

– Проживешь старым жиром, – хлопнул по тугому загривку Филя Фрол Лалетин. – Хозяйство-то промотал – хоть телушку приведи в колхоз.

– Ежели так, берите и телушку, – согласился Филя и даже повеселел, как бы освободившись от непомерной тяжести. – Все едино, мороки меньше.

Долго стоял на пригорке, глядя на седой тополь. Тонкие и толстые сучья – до ствола в наметах куржака, как в иглистом серебре, сухо пощелкивали.

«Эх-хе-хе, горюшко людское, – подумал Филя. – Не выдрать тебя из земли, не изничтожить. Тятенька жил так, а меня вот кувырнуло вверх тормашкой: в колхоз записался. В коммунию попер, якри ее. А што поделаешь?»

II

Из города вернулся Демид в леспромхоз.

Лохматая тайга встретила Демида пахучестью хвойного леса, работающим народом, перепадами зубастых пил, вкусными щами в орсовской столовке, и что самое интересное, Демид сразу стал самостоятельным парнем. Никто не попрекал его куском хлеба – он ел свой.

Тайга, тайга!..

Близкая и таинственная, она звала к себе юное сердце Демида, будоражила кровь, и он, забывая обо всем на свете, работал с лесорубами, довольный собственными, хотя и небогатыми, получками зарплаты. Вернулся он из города возмужалым, рослым и стал работать по сплаву леса. Беспокойный и бесстрашный, неломкий в трудных переплетах, рыскал он по таежным рекам месяцами, подгоняя хвосты молевого сплава. Как-то по мартовской ростепели навостил Демида отец на дальнем лесопункте Тюмилъ. Демид жил в бревенчатом бараке, в самом конце, в отгороженной досками клетушке. «Чистый свинарник», – отметил Филимон Прокопьевич, втискиваясь в клетушку.

Застал сына за скудным обедом. На голом столе картошка в кожуре, щепотка соли, кирпичина черного хлеба, медный, прокоптелый на кострах чайник и алюминиевая кружка вся во вмятинах. Стены проконопачены мхом. Деревянный топчан накрыт серым одеяльцем, вместо подушки – комом свернутая телогрейка. На стене брезентовый дождевик с обтрепанными рукавами, нагольный полушубок, да еще ружье – «из дорогих, должно, бескурковое. Стоящую премию цапнул».

Единственное окно с одинарной рамой оледенело снизу доверху.

– Эх-хе-хе, постная у тебя житуха, Демид. – Филимон Прокопьевич оглянулся, куда бы сесть. Две чурки, на чурках доска неструганая. Демида только что назначили прорабом. И он жил тут же, на лесосеке, не покидая своего участка. – Вроде в начальниках ходишь, а взгляд копеечный.

– Не жалуюсь.

– Оно так. Поди, весь заработок на займы отдаешь?

– Сколько полагается, отдаю.

– Одичал, вижу. Рубаха-то с грязи ломается.

Демид перемял широкими плечами:

– Тут ведь тайга, папаша. Всяко приходится жить.

– Оно так. И холодом, и голодом, а мильенами ворочаете. Лес-то куда турите? За границу? Эге! Кто-то греет руки на нашем нищенстве.

– Кто же это греет? – Синева Демидовых глаз скрестилась с отцовской хитринкой.

– Ты грамотный, сам должен понимать – кто. И в Библии про то сказано. «Оскудеет земля под анчихристом, и люди станут, яко черви ползучие – во грязи, во прахе, в навозе, и без всякой людской видимости».

Демид посунул от себя картошку, поднялся с табуретки:

– Ты что, Библию пришел читать?

У папаши нашлось более важное заделье.

– Посодействуй, слышь, устроиться в лесники на Большой кордон. Не по ндраву пришла колхозная житуха. Не житье – вытье. Один – не тянет, не везет, другой – на небо поглядывает. Третий ворон считает. А все не прибыль, а убыток. Порешили стоящих мужиков, а голь перекатная из века в век с куска на кусок перебивалась. Глаза бы не зрили.

– На одиноличность потянуло?

Филимон Прокопьевич махнул рукой:

– Отторглась единоличность. Как костыль из души вынули. Тапереча одна линия – в пустынность, чтоб глаза не зрили этакую житуху.

– Нету такой пустынности на земле.

– Как так? А Большой кордон? В самый аккурат. Избу новую поставлю на свой манер, коровенка, лошаденка...

– Иконы туда перевезешь?

– А што? Перевезу. Не груз – руки не оттянут.

– Кончать надо тебе с иконами.

– К анчихристу перекатиться?

– И с антихристом кончать надо.

– Ишь ты! Отца учишь!

– Не учу, советую. Ничего ты не достигнешь ни с иконами, ни с антихристом. Берись за дело.

– Толкую про дело. Устрой в лесники. Самое по мне.

– Рановато тебе в лесники, – пробурлил Демид, косясь на полнокровное лицо папаша. – Иди в бригаду лесорубов.

– Несподручно. Сила не та, штоб лес ворочать.

– Силы у тебя за четверых.

– Все может быть. Но силу надо расходовать умеючи. Не ровен час – надорвешь жилы, а ради какой корысти?

– Не буду я тебя устраивать в лесники.

– Ишь ты, как привечаешь! – крикнул Филимон Прокопьевич, поднимаясь с лавки. – А вроде сын мой, а? Истинно сказано: «И станет сын врагом отца своего, брат подымет на брата, а сама земля остынет. Не будет ни тепла, ни людства, никакой другой холеры», – вещал Филимон Прокопьевич. – И еще скажу тебе...

И тут только Филю осенило: перед ним вовсе не Демид, а братан Тимофей, каким он запомнил, когда брат приехал из Петрограда. И поджарость та же, и прямина спины, и разлет бровей, и малая горбина на носу, и лбина Тимохин!

Так вот что подмывало под сердце Фили, когда он вошел в клетушку Демиды. Он встретился с Тимофеем. Истинно так!

«Удружил мне тятенька, Царствие ему Небесное, – ворохнулась тяжелая дума. – Если умом раскинуть: в каком родстве я состою с Демидом? Кто он мне? Сын аль братан?»

В самом деле – кто Демид Филимону Прокопьевичу? По жене Меланье – как будто сын. А если взять по Прокопию Веденеевичу, от которого Демид на свет появился, то брат, выходит? И кем будут доводиться Филе дети Демиды? Внуцата иль племянники?

«Ах ты, якри тебя в почки, – сокрушался Филя, топчась на одном месте. – Стыдобушка-то какая, а?»

– Ну я пойду, прощевай, – заторопился Филимон Прокопьевич, запахиваясь полушубком.

Демид удивился, что за перемена произошла с отцом.

– Погости, – пригласил сын. – Схожу в столовую – обед принесу. Мы хоть и бедно живем, а щи в столовке имеются.

– Спасибочка на приглашение. Без щов обойдусь. А ты што же к матери не навещал? Уж если ко мне прислон не держишь, то про мать-то пошто запамятовал?

Демид сказал, что скоро соберется в Белую Елань и будет там жить.

– Сплавконтору откроем.

– Ишшо одну контору? Повелось же! В колхозе у нас контора, в сельсовете тоже – секретарь пишет, в леспромхозе еще одна контора, и прииск открыл свою контору. Ловко! А мы-то жили, якри ее, никаких контор не видали.

– Вы – жили! – усмехнулся Демид, и опять Филя показалось, что даже усмешка у Демида Тимохина. – Одни молились из избы в дырку на восток, другие – на рябиновый крест. Холстом покрывались и дерюгою одевались. И тоже – жили!

– Оно так. Из холста не вылазили, – поддакнул Филимон Прокопьевич, а сам подумал: «Истинный бог, вылитый Тимоха! И голос с той же глухостью, и глазами пробирает до нутра, как Тимка. Оказия! Што же происходит, а?»

А сын Демид спрашивает:

– Хотя бы тополевы толк. К чему он привел?

У Фили захолонуло внутри, будто схватил сгоряча ковшик квасу со льдом.

– Толк-то? Пропади он пропадом.

– Ты же ему веруешь?

– Я-то? Што ты, Тимоха! – вырвалось у Филимона Прокопьевича. – Господи помилуй, Тимофея вспомнил. К добру ли?

Демид потупился и смял в пальцах махорочную сигарку. Он не раз слышал от односельчан, что очень запахаживает на дядю Тимофея и что Филимон Прокопьевич ему не отец.

Но в каком же дурацком положении оказался сам Филимон Прокопьевич, менее всего повинный во всей этой истории?!

– Раздевайся, отец. Я сейчас схожу в столовку, что-нибудь сготовят. Медвежатины попрошу поджарить.

– Пост ноне. Мясного на дух не подпущу до самой Пасхи. Разве постных щец похлебать?

– Найдем что-нибудь. Завтра вместе поедем домой. Ты с попутчиками? А нет, так у меня юсковский рысак есть – моментом домчит.

– Ишь ты! Юсковский! Который год, как их вытряхнули из деревни, а рысаки живут. Хо-хо. Чего не переживешь и не перевидаешь.

Демид раздобыл в столовой постного масла, мороженой рыбы – ленков и хариусов, сам поджарил рыбу, чем не в малой мере удивил Филимона Прокопьевича, и угостил отца на славу. Отец подобрел, отмахнулся от навязчивой и сердитой тени брата Тимофея и даже дозволил себе пропустить чарку водки – свершил тяжкий грех.

– Жили-то мы как, Демид? – бормотал повеселевший Филя. – И то нельзя, и это непозволительно. А штоб вином умиловиться – оборони бог. Отец насмерть пришиб бы. Так и говорил: со щепотником, бритоусцем, чаехлебом, табачником – не водись, не дружись и не бранись. Великий грех будет. А ты усы бреешь, табак куришь, постов не блюдешь, а ничего – живешь и в ус не дуешь. Никакой холеры не боишься. Вольготно так-то.

Филя призадумался:

– Жизнь вся перевернулась вверх тормашкой! Будто старого вовсе не было. Хотя бы вот наш тополь. От мово прадеда происходит. Как думаешь: грабануть бы его под самый корень, а?

Демиду тоже не раз довелось подумать о тополе. Но можно ли одним топором разделаться с памятью старины? Со всеми предками? Не угодно – взял и вырубил под корень. Все равно что перечеркнуть собственную фамилию.

– Что он тебе, тополь?

– Застит окошки, якри его.

И долго еще Филимон Прокопьевич поведывал сыну Демиду про старину, про брата Тимофея, как малый Тимка порубил иконы в моленной горенке и потом бежал в город и одиннадцатый годов глаз не казал дома, а появился из самого Петрограда насквозь красным – от ушей до пят, так что краснее его никого на белом свете не было.

В печурке звонко потрескивали еловые дрова. Чугунная плита пылала, как борода Филимона Прокопьевича. В бараке кто-то пел песню без начала и конца, а Филимон Прокопьевич, удобно устроившись на деревянном топчане, может, впервые почувствовал себя отцом Демида.

И сам Демид звал его не тятенькой, как девчонки, а именно отцом – создателем всей живности на земле.

«Эх-хе-хе! Вот она, жизнь человеческая! – размышлял Филимон Прокопьевич. – Никому не ведомо, куда повернет тебя судьба!.. Вот он, хоша бы Демид. Худо, хорошо ли, а выгнул-таки на свою линию – начальником стал! Недаром сказано в Писании: „Судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба“».

III

Не думал Демид, с высоты какого неба Бог распоряжается его судьбою.

Давно растолкнулся он с отчим домом и со всеми его богами, редко навещая даже к матери.

И кто знает, как сложилась бы дальнейшая жизнь Демида, если бы судьба не столкнула его с красноармейкой Агнией Вавиловой.

Как-то вешним вечером Агния встретила Демида на берегу ревучего Амыла.

«Демка! Ей-богу, он самый!» – обрадовалась Агния. Она же давно не видела Демида. А разве не вместе сидели за одной партой на зависть всем девчонкам?! Детство! Смешное и милое было время. Разве не Демка говорил ей, что как только вырастет, они обязательно поженятся и будут жить в городе на Енисее... Смешной парень Демка. И вот он теперь перед ней в болотных сапогах с высокими голенищами, в брезентовой куртке, поджарый и рослый, с кудрявым пшеничным чубом, чуть горбоносый, с обветренным лицом. Вот он каким стал, Демид Боровиков! Такого Демида Агния впервые видит и робеет перед ним.

– Агния? – И голос совсем не мальчишеский – грубоватый, чуть охрипший. – Ну, здравствуй, Агния. – И протянул сухую, шершавую ладонь.

– Здравствуй, Демид, – промолвила Агния, не отнимая руки.

– Вот ты какая стала, Агнейка!

– Изменилась?

– Не то что изменилась, а как бы тебе сказать? В общем, не Агнейка. Что это тебя совсем не видно? Сколько раз проходил мимо Вавиловых, глядел через заплот и в окно, но ничего не выглядел. Прячешься, что ли?

– От кого мне прятаться?

– Что не бываешь в клубе, хотя бы в кино?

– Мне теперь не до кино. У меня сын растет.

– Про сына слышал. На Степана похож или на тебя?

– Весь вылитый Степан. Я думала, что-нибудь перейдет от меня. Ни капельки. Как уголь чернявый и такой ревучий. Второй год пошел. Ну а ты когда женишься?

– Я? – Бровь Демида опять кинулась вверх и там замерла. – Молевщики говорят: «Когда Жулдет вспенится – тогда Демид женится».

– Что так?

– Да уж так. Ну а ты, счастливая?

– Мое счастье известное. Четыре стены, три коровьих хвоста, три свиных рыла, чугуны да ухваты, а потом – контора колхоза. Трудодни разношу по книжкам.

– Здорово! Ты же на геолога училась?

Агния потупила голову:

– Если бы ты знал, Дема, как мне бывает трудно! Другой раз так подмывает под сердце, что хоть с берега и в воду. Сама себе хомут надела на шею... И в техникуме не доучилась, и с кержаками не примирилась.

Да, она была чужой в доме свекра Егора Андреяновича. Высокий, вислоплечий, костистый, уса́тый, как уссурийский тигр, Егор Андреянович Вавилов ходил по дому тяжело, на всю ступню. Правда, Агнию он не обижал. Но была еще свекровка Акси́нья Романовна, набожная староверка, суетливая и жадная. Не одну слезу уронила Агния в пузатый двухведерный чугу́н с картошкой для свиней; не один раз подкашивались ноги от усталости, а свекровке все мало. Гоняла невестку и днем и ночью. Ни веселья, ни радости. И вчера и сегодня – одно и то же. Супились брови, старилось сердце.

И вот неожиданная встреча с Демидом! И вечер выдался необыкновенно теплый, прозрачно-синий, когда вся земля млеет в истоме после жаркого дня. Полыхала багряно-красная зарница. Лениво и сонно порхали птицы в чернолесье.

– Помнишь, как мы с тобой каждый вечер торчали где-то здесь, на берегу?

– Не здесь. У старой дороги. Там, где был паром.

Подул легкий освежающий ветерок. Дурманяще резко напахнуло молоком цветущей черемухи.

– Чуешь? – Демид раздул ноздри, принюхиваясь.

– Черемухой пахнет.

– Черемуха – все равно что сама любовь. Носится вот так, ищет кого-то. Может, тебя?

– Что ты! – испугалась Агния.

– А я б с моим удовольствием встретил ее! Пусть бы жгла душу – не жалко.

– Ты парень. Кто что скажет?

– Степан скоро вернется?

Агния горько вздохнула:

– Он остался служить сверхсрочно. Учится в Ленинграде на командира. Обещается на побывку в будущем году.

– Понятно. – Демид поднял булыжину и кинул в улово под яр. Камень булькнул, а брызг не видно – так черно внизу. За рекою лают собаки и кто-то растяжно кричит: «Ма-аню-ута-а!» И эхо троеит голос: «У-та, у-та».

По листьям плакучей ивы, склонившейся с берега к воде, пронесся внезапный трепет, точно ива продрогла. Листья зашумели, как мыши в соломе.

– Люблю ночь встречать на реке, – сказал Демид. – Вот обниму иву и буду целоваться с ней. Слышишь, как она лопочет?

– Разве девок мало на деревне? – тихо спросила Агния, а у самой сердце захолонуло.

– Моя не в девках.

– Где же? В бабах, что ли? Не Дуня Головня?

– Моя Дуня – вот она! – И, как того не ждала Агния, Демид обнял ее с такой поспешностью, что она вскрикнула.

– Что ты! Что ты! С ума сошел. Отпусти, Демид. Ну, говорю тебе, отпусти. Еще увидит кто!..

Большие карие глаза Агнии сейчас казались черными. Демид обнял ее, потеснив к старой иве. Агния хотела оттолкнуть Демиду, но руки у ней ослабли, согнулись в локтях, и она прижалась к Демиду своей полной грудью, чуть откинув голову, встретила с его горячими сухими губами. Мягко лопотали листья ивы над головой.

– Пусти же. Вдруг кто увидит.

– Пойдем к старому броду.

Шли берегом, пробираясь в густых зарослях чернолесья. Дикотравье цеплялось за ноги, хлестало Агнию по голым коленям. Демид крепко держал ее за руку. Еще спросил, отчего у ней ладошка холодная? Мягкие ветви черемух, осыпая белыми лепестками простоволосую голову Агнии, цеплялись за ее плечи, за пряди растрепанных волос.

Вот и прогалина, и старый брод. Здесь когда-то был паром. И Демид с Агнией часто сживали здесь, на берегу.

Потом они пошли к старому тополю: там никого не бывает вечерами.

Агния глянула на развилку старого тополя – и ей стало жутко. Она столько наслышалась страхов про могилу каторжанина. Но ведь не одна же, с Демидом?!

Вокруг тополя – лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника – тьмущая. Шумливая, загадочная и волнующая.

Слова Демиды тихие, как шалый суховей, и руки его стали горячие, нетерпеливые.

– погоди, не трожь меня, Дема, – пролепетала Агния, опускаясь на брезентовую куртку, которую Демид кинул возле тополя. – Видишь, я вся как в огне. И щеки горят, и во рту сохнет. Боже мой, с ума сошла я, что ли? – шептала Агния, глядя на лицо Демида снизу вверх. – Глянь, как сквозь сучья тополя небо проглядывает. И мне кажется, будто мы с тобою никогда не расставались, Дема.

– Милая моя Агнейка! Ты для меня всегда будешь Агнейкой, какую я знал.

– Если бы я не была дурой, разве бы выскочила замуж за Степана?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.